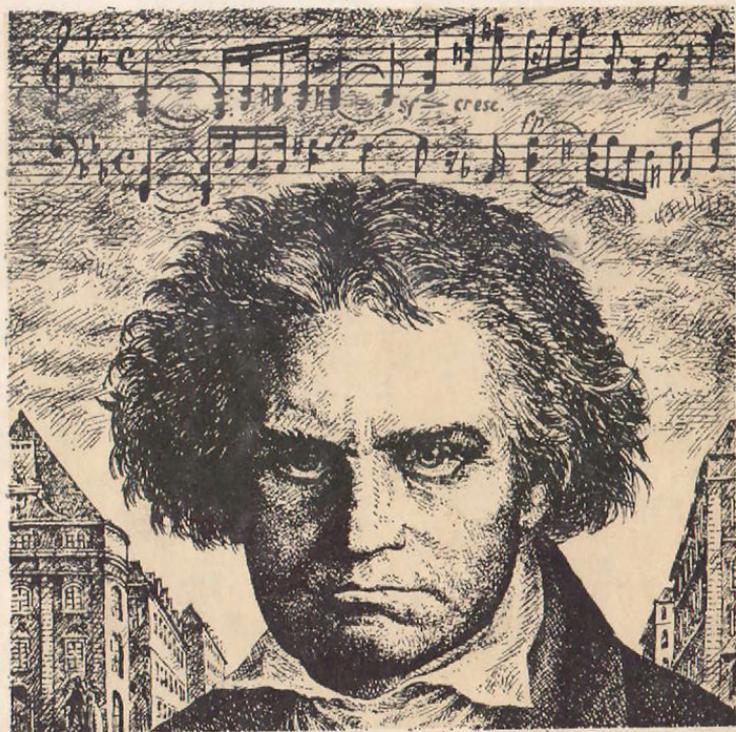


А. Згорж

**ОДИН  
ПРОТИВ СУДЬБЫ**



# БЕТХОВЕН

А. Згорж

# ОДИН ПРОТИВ СУДЬБЫ

■ ПОВЕСТЬ О ЖИЗНИ ■

ПОВЕСТЬ О ЖИЗНИ

ПОВЕСТЬ О ЖИЗНИ

■ ПОВЕСТЬ О ЖИЗНИ ■



сли бы я не был пекарем, то, может быть, смотрел бы на музыку по-другому. Вы, господин хороший, ночью спите, а днем работаете. А у меня все наоборот. Ночью я пеку, значит, днем спать бы полагалось. Да не тут-то было... У вас музыка с утра до вечера, человеку глаз не сомкнуть. А уж о посетителях да беготне по лестнице взад-вперед лучше уж и не говорить!

Мне очень неприятно, господин ван Бетховен, но придется вам искать другую квартиру!

Пекарь Фишер, в полотняных штанах, в рубашке, вымазанной мукой, в домашних туфлях на босу ногу, в раздражении выбежал из пекарни к воротам своего старого дома, навстречу мужчине лет сорока с удивительно красивым лицом. Веки у того были припухшие, глаза тусклые, как у невыспавшегося человека. И хотя одет он был в темно-зеленый фрак, белые шелковые чулки и туфли с большими серебряными пряжками, вид его не внушал доверия. Весь этот наряд уже несколько поношен, а парик с черным бантом, казалось, того и гляди съедет с головы. В руках у него был странный узел, похоже набитый каким-то тряпьем.

Приближаясь к дому, господин не произносил ни слова, высокомерно уставившись на взволнованного пекаря. Решив, что поверг домохозяина в прах, он вдруг засмеялся, лицо его прояснилось:

— Вы когда-нибудь слушали Моцарта? — Он положил руку на плечо пекаря.

Фишер заморгал глазами. Но странный вопрос прозвучал снова:

— Я вас спрашиваю: вы когда-нибудь слышали, как играет Моцарт?

— Нет, не знаю... — Пекарь растерялся.

— Так вы его, стало быть, не слышали, — сказал господин соболезнующе. — А жаль! Удивительный ребенок! Он выступал у нас в Бонне лет четырнадцать назад как пианист-виртуоз и композитор. Хотите знать, сколько ему тогда было лет, господин Фишер? Семь лет, господин Фишер!

— Я только говорю, что никогда не высинаюсь как следует, — бормотал пекарь.

Не слушая смущенного пекаря, господин несколько раз кивнул головой в белом парике.

— Моцарт был истинное чудо света. И хотите верьте, хотите — нет, по этот ребенок играл в Париже для королевской четы, а в Лондоне совершенно покорила королеву английскую! Князья и курфюрсты приглашали его в свои замки, а золото рекой лилось к нему со всех сторон!

В конце концов толстяк пекарь понял, что княжеский оркестрант и тенорист Иоганн Бетховен дурачит его. А может быть, он просто льян? Такое бывало не раз! Пекарь был уже по горло сыт рассказом о необыкновенном Моцарте и взорвался:

— Не говорили бы вы лучше новость чего! Извольте освободить квартиру! Полапрасну тратите свое красноречие.

Опытный лицедей притворился удивленным:

— Но, господин домовладелец, именно об этом мы и говорим! Моцарт теперь уже композитор, прославленный во всем мире. Вена — императорская столица — поклоняется ему. Вельможи считают за честь, если он побренчит на фортепьяно в их дворцах.

— Боюсь, что сегодня вы несколько в подпитии, господин Бетховен. Поговорим в другой раз! — Возмущенный Фишер повернулся к дверям пекарни.

— Нисколько, дорогой хозяин! Я трезв, как еще никогда в жизни! Только, пожалуйста, выслушайте меня. Кому довелось услышать Моцарта в концерте ребенком,

но сей день гордится этим! На его родном доме скоро будет памятная доска. А вы? Вы отказываетесь от такой чести для своей халупы. Неужели вы хотите, чтобы в будущем вас упрекали — пекарь Фишер изгнал из своего дома чудо-ребенка?!

— Вы сами не знаете, что говорите, господин Бетховен. Я молоденького Моцарта нигде не выгнал, потому что никогда в глаза его не видел. До свидания!

— Нет, не до свидания, господин домовладелец! Продолжим наш разговор. Мой старший сын Людвиг точно такой же необыкновенный ребенок. Его имя тоже прославится во всем мире. И скоро! Совсем скоро! Вот, взгляните только.

Бетховен положил узел на стоявшую у ворот скамью. И протянул афишу, текст которой был напечатан жирным готическим шрифтом.

Пораженный пекарь прочитал:

## ИЗВЕЩЕНИЕ

26 марта 1778 года

придворный тенорист Бетховен будет иметь честь показать в музыкальном академическом зале своих учеников:

придворную альтистку мадемуазель АВЕРДОНК и своего шестилетнего сынишку.

Первая будет иметь честь выступить с различными красивыми арями, второй — с разными клавирными концертами и трио.

Он надеется доставить высоким господам полное удовольствие, тем более что артистам была оказана милость быть выслушанными, к величайшему удовольствию всего двора.

Начало в 5 часов вечера.

Неабонированные господа и дамы платят один гульден.

— Ну, что вы на это скажете, господин Фишер? — спросил тенорист, когда взор пекаря остановился на нижней части афиши.

Пекарь с минуту молчал, не находя слов. Потом произнес с некоторой робостью:

— Я бы сказал, что в афише есть ошибка, господин Бетховен. Если память мне не изменяет, Людвигу не шесть, а семь с половиной.

Иоганн ван Бетховен благодушно махнул красивой рукой:

— Годом больше, годом меньше, какое это имеет значение! Чудо-ребенок должен быть как можно моложе. Главное состоит в том, дорогой господин домовладелец, что концерт принесет Людвигу славу, мне — деньги, а вашему дому — почет!

— От почта я не откажусь, если только смогу выспаться после ночной каторги. А от квартиры я вам отказываю.

— Ну, ну, вы этого не сделаете! — Тенорист не переставал улыбаться. Он не принимал всерьез никогда и ничего, а уж гнева домовладельца и подавно.

— Вы только скажите мне, в какое время вы хотите иметь покой, и мы будем играть пианиссимо. Или, может быть, играть для вас колыбельную?

— Вы мне еще кое-какие хлопоты доставляете. Проплаченный взнос за квартиру не внесли, да и второму уже срок истекает.

Жалобы пекаря вдруг оборвались, потому что в открытых воротах возникла странная фигура. Собеседники смолкли, отступив во двор и удивленно глядя на пришельца.

Человек средних лет, тщедушный и сгорбленный, в давно нечесанном парике, входил во двор, не обращая на них внимания. Черный фрак болтался на нем, однако ноги в коротких панталонах и чулках цвета, лишь отдаленно напоминающего белый, ступали энергично и размеренно.

В правой руке он держал черную, с потрескавшейся краской, дирижерскую палочку, в левой — ноты, свернутые в трубку. Палочкой он ритмично постукивал по нотам.

— Последнее время он ходит сюда каждый день!

— Тихо... — остановил пекаря тенорист. — Посмотрим, что он будет делать.

Они оба хорошо знали пришельца, как знал его в городе каждый. Некогда тот был музыкантом, сам поне-много сочинял. Рассказывали, что он совсем «заучился» и в голове у него царил хаос. Музыкант уже сыграл свою роль уважаемого гражданина и теперь выступал в роли городского сумасшедшего. Он никогда ни с кем не разговаривал и только блуждал по городу, помахивая дирижерской палочкой и нотами, свернутыми в трубочку.

Сейчас он замер в неподвижности посреди двора, склонив ухо к дому. Из открытого окна первого этажа доносились звучные аккорды. Чьи-то пальцы уверенно бегали по клавишам.

Сумасшедший начал помахивать палочкой в такт музыке. Он тихо улыбался, покачиваясь всем телом. Видно, доносившиеся звуки были приятны его искушенному уху. Так он постоял некоторое время, потом указал своей палочкой на окна дома, где играл невидимый пианист, и быстро закивал головой. Это могло означать только одно: хороший пианист, хорошая музыка!

— Видели? — зашептал пекарю Иоганн Бетховен, когда фигура в черном удалилась. — Он показывал на мои комнаты! Недаром говорят, что устами младенцев и блаженных глаголет истина. Он похвалил моего сына! Оценил его игру!

— Может быть, — сдержанно согласился пекарь. — Но если бы даже вы, ваши ученики и все три ваших сына играли как ангелы, я все равно уже сыт по горло всем этим брэнчанием, пением, тоном и визгом.

— Не думал я, что вы такой враг искусства!

— Я и не говорю, что я враг искусства. Я просто хочу спокойно спать.

— Господин домовладелец, должен вас предупредить, что вы навлекли на свою несчастную голову гнев его княжеской милости.

— Гм...

— Я бы на вашем месте не говорил «гм», а немедленно отказался бы от вашего требования чтобы мы съехали с квартиры. На афише, которую я только что показывал вам, вы могли прочесть, что мой сын уже выступал перед архиепископским двором. Вы не представляете себе, какой был успех, господа были в восторге! Князь обнял мальчика, погладил по щеке и не без труда скрыл слезы волнения. Ведь мне достаточно только сказать, что вы...

— Господин архиепископ человек справедливый, он знает, что ночью пекарь должен нечь, а днем им надо спать, — парировал пекарь, однако уступчивая нотка в его голосе свидетельствовала, что он поколеблен в своей решимости.

Разве осмелится кто-нибудь в Бонне прогневить архиепископа? Его замок кашит гофмейстерами, камергерами, лакеями, егерями, конюхами, и бог знает, какие еще звания носит бесчисленная челядь вельможного владетеля.

Каждый из восьми тысяч боннских обывателей надеялся хоть что-нибудь уловить из золотого потока, который изливается из замка. К наиболее захудалым относились княжеские музыканты. Их у князя тридцать шесть, и один из них Иоганн Бетховен.

Пекарь Фишер отлично знал, что беззастенчивый квартирант принадлежит к самым ничтожным из княжеской челяди. Его покойный отец умел устроиться лучше. И, хотя происходил из фламандцев, сумел выдвинуться на почтенную должность капельмейстера. К тому же он владел двумя погребками со знаменитым рейнским.

К младшему же Бетховену пекарь почтения не питал. Однако был еще сын его, Людвиг! Ему всего семь лет, а по городу идет молва о его большом будущем. Кое-кто,

правда, втихомолку посмеивается — посмотрелись на вундеркиндов! Но Фишер-то разбирается в людях! В мальчишке есть что-то особенное, хотя как всякий мальчишка он и способен участвовать в разных проделках. Но он бывает подчас серьезен, как взрослый. Смотрит вдаль, не улыбнется, молчит и все о чем-то думает. Потом вдруг сорвется с места, ринется домой, и вот уже клавиши поют под его пальцами что-то такое, что еще, должно быть, не изображено потными знаками. Фишер, правда, не играет ни на одном инструменте, но отличить настоящую музыку умеет. Все-таки ему довелось услышать ее. Это еще когда старый капельмейстер музцировал. А с ним его ученики и сын — тогда молодой красавец с многообещающим тенором.

— Чтобы вы не говорили, будто я не хочу пойти на встречу, господин Бетховен, так и быть, я подожду еще. Подожду ради Людвиг. Но, пожалуйста, будьте потише по утрам, когда я сплю. Ведь музыка бывает не только форте!

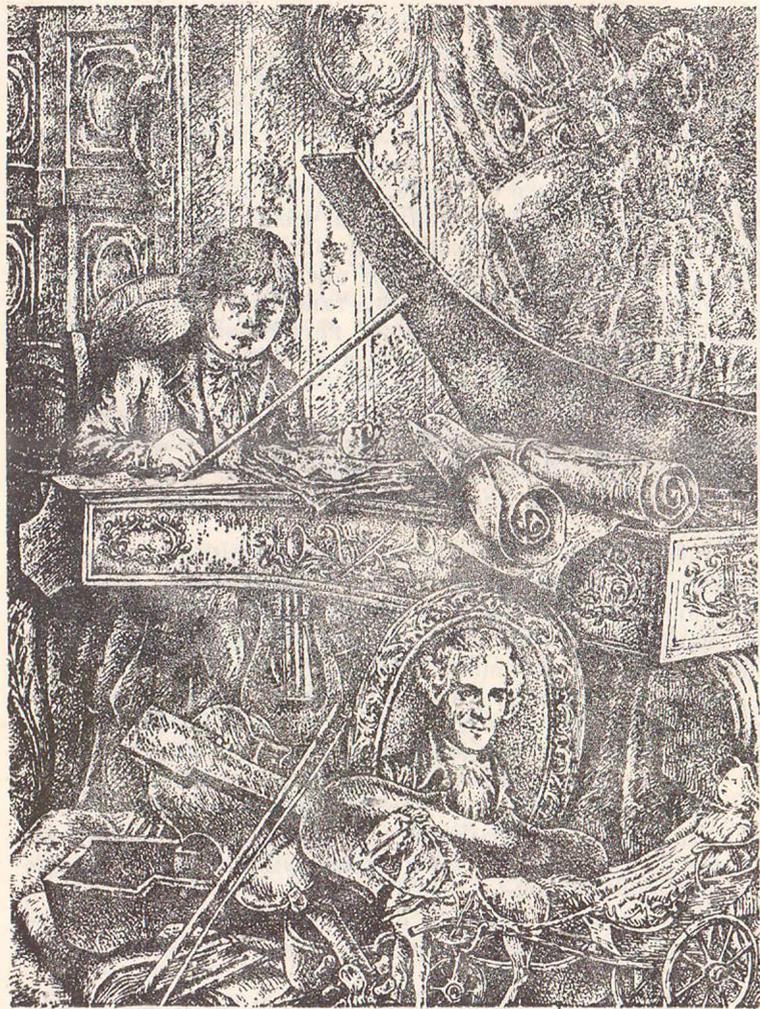
Взяв свою странную пошу, тенорист кивнул и исчез в дверях. Поднявшись вверх по' деревянной лестнице, Иоганн Бетховен вошел в кухню своей квартиры. У окна маленькой комнаты с низким потолком сидела хрупкая печальная женщина небольшого роста с каким-то шитьем на коленях. Она обратила к мужу свое худое, почти прозрачное лицо с ярким румянцем на скулах. Муж протянул ей узелок и горделиво объявил:

— Вот принес. Роскошь! Ты только взгляни!

Женщина поднялась. А в помещение тут же вбежали два мальчика — четырехлетний Каспар и двухлетний Николай. Оба коренастые и такие румяные, будто их щеки латерли кирпичом.

Они толклись вокруг, с любопытством разглядывая сверток, который отец положил на чисто вымытые доски стола.

— Фрак! Совсем как мой, — спесиво изрек княжеский тенорист и развернул костюмчик из зеленой парчи.



Он был маленьким и смешным, оттого что был копейкой костюма для взрослых.

Потом на свет был извлечен крошечный пестрый жилет с целым рядом пуговиц и коротенькие панталончики того же цвета, что и фрак. И наконец, паричок, белоснежный, завитой в множество продолговатых локонов.

— Точно так был наряжен маленький Моцарт! Людвиг будет несколько не хуже! Ни платьем, ни игрой, — звучал хвастливый мужской голос. — Тебе, конечно, не нравится!

Она пожала плечами и вздохнула. Супруг возмутился:

— Да, конечно, тебе не нравится. А мне придется выложить целую кучу дукатов, уж поверь мне! Спасибо портной согласился подождать с оплатой до концерта. Материал он поставил отличный. Ты только представь себе, как Людвиг выйдет на сцену в зеленом фраке и белом парике! Шестилетний виртуоз! А шпага! Бог мой, совсем забыл! Нужно же еще достать маленькую позолоченную шпагу. У Моцарта была такая. Может быть, мне одолжат в театальной костюмерной?

— Несчастный мальчик! — почти беззвучно произнесла женщина.

— Несчастный? Хотел бы я знать почему?

— Поиграйте во дворе, мальчики, — неожиданно приказала мать. — Я не хотела говорить при них, — кивнула в сторону двери госпожа Бетховен, — но теперь я тебе скажу, что мне этот концерт не в радость.

— Почему? Может быть, Людвиг не хочет упражняться? Я его образумлю, — погрозил он пальцем.

— С обеда играет не переставая!

— Только бы опять не барабанил свои нелепые фантазии. Он это любит!

— Людвиг упражняется хорошо. Послушай только!

Оба умолкли. Быстрые и уверенные пассажи, доносившиеся из соседней комнаты, слышались теперь отчетливее. Она продолжала:

— Он не подведет тебя. Но скольких мучений стоило!

— Глупости! Он обожает музыку с малых лет.

— Это верно. Но все-таки он еще совсем ребенок. Иногда ему хочется побегать во дворе, поиграть в прятки, погонять мяч, а ты с этим не считаешься, прямо приковылаешь его к роялю!

— Я делаю это ради его же будущего. Он должен стать великим пианистом!

— Но немного радости ты мог бы ему позволить, — возразила жена. — Признайся, Иоганн, ведь ты печешься не столько о будущем Людвига, сколько о деньгах.

— Может быть, у меня их много?

— Мы не выходим из нужды, это правда, но кто виноват? Твое жалованье, конечно, ничтожно. Что это — двести пятьдесят дукатов в год, с тремя-то детьми! Но ведь ты бы мог заработать еще столько же уроками музыки или пенни. Только как бы это выглядело, если в самом деле пришли ученики, а ты бы в это время сидел в корчме? Да еще в таком состоянии, что ноту от ноты не отличить!

Муж внезапно поднялся с лавки:

— Как ты думаешь, Магда, не надо ли примерить костюм, посмотреть, к лицу ли он мальчику? — И, не ожидая ответа, пошел к двери: — Иди сюда, Людвиг!

Рояль умолк не сразу. Пианист закончил фразу и только тогда отнял руки от клавиш. И тотчас же появился в дверях. Это был невысокий крепкий мальчик. Волосы у него были удивительно густы, черны и откинуты назад, а кожа так смугла, будто он родился не на Рейне, а где-то на юге, под жгучими лучами солнца. В темных глазах мальчика был вопрос: зачем позвали?

— У меня для тебя есть сюрприз, мальчик. Через неделю будет концерт. Смотри, как мы с мамой тебя нарядим, — хвастал отец, разворачивая костюм.

На лице Людвига отразилось разочарование. Глаза перебежали от стола к окну. Его манил весенний вечер, а портновское чудо совсем не трогало.

— Надешь, Людвиг! Ты будешь настоящий кавалер! Мальчик не ответил, только лицо его нахмурилось. Молча начал он одеваться с помощью матери, не произносившей ни слова. Отец подал ему белые шелковые чулки, своими руками застегнул посеребренные пряжки на черных туфлях, натянул парик на непокорную шевелюру, расправил под подбородком пышный кружевной бант. После этого он повел мальчика в соседнюю комнату. Там висело в золоченой чеканной раме большое зеркало необычной формы, сужающееся внизу. Эта роскошная вещь среди бедной обстановки была единственным напоминанием о благосостоянии деда.

Маленький Людвиг долго и пристально всматривался в странного мальчика в зеркале. В рамке из белых булавок собственное лицо казалось ему коричневым, как глина, и бесконечно безобразным. Он не смотрел ни на красивый зеленый фрак, который был ему ниже колен, ни на пестрый жилет, почти такой же длины. Он видел на серебристой поверхности зеркала только темное лицо, и оно становилось все более мрачным.

Зато отец ликовал. Несколько раз он обошел вокруг мальчика, чтобы полюбоваться им со всех сторон. Ему представлялось, как он выводит Людвига на сцену, сажает у рояля, становится около него, чтобы переворачивать ноты и раскланиваться вместе со своим необыкновенным ребенком, когда зал разразится аплодисментами.

— Еще добуду позолоченную шпагу! — обещал отец. — Ее тебе недостает.

Мальчик минуту раздумывал над последними словами отца, потом коротко рассмеялся:

— Дайте мне еще шарманку!

— Какую шарманку?

— Недавно к школе приходил шарманщик. Держал на цепочке обезьянку, наряженную, как я. Когда он играл, она танцевала.

— Людвиг! — предостерегла его мать.

Отец вознегодовал:

— Разденься и сейчас же садись за рояль!

На мгновение мальчик задумался. Так и замер, огорченный, во фраке, стянутом с одного плеча.

В окле виднелись освещенные крыши домов, искрящаяся гладь Рейна, а на другом берегу зеленые холмы — Семигорье. Там, на улице, солнце светило одинаково ярко всем детям — обыкновенным и необыкновенным.

— Папа, я бы хотел пойти на улицу, — просительно сказал он.

— Пусти его хоть на минуту, — взмолилась мать. — Вечер так хорош!

— А концерт?

Мальчик молчал. Мать продолжала:

— Он трудился очень прилежно. У него все получается прекрасно, лучше невозможно, а солнце скоро сядет.

— Иди поработай еще немного, — милостиво произнес глава семьи, — после ужина приду послушать тебя. Если сыграешь без ошибочки, так и быть, отпущу тебя. Иначе — нет!

Людвиг молниеносно сорвал с себя атласный жилет.

— Ну, ну... — ворчал Иоганн Бетховен. — Если даже этот костюм, как ты говоришь, пристал обезьяне, не следует сразу обрывать на нем все пуговицы.

Тенорист сам аккуратно сложил концертное платье сына и велел жене убрать все в шкаф. После этого он уселся за кухонный стол и с большим удовольствием поужинал холодной рыбой с хлебом и изрядным бокалом вина.

Вдруг его мощные челюсти прекратили свою работу. Что такое играет Людвиг? До этого мгновения звучала сладкая мелодия прелюда, который когда-то играл Моцарт. Это сочинение Иоганн Бетховен выбрал для концерта намеренно. Оно трудно, и общество, конечно, поймет, что новый чудо-ребенок несколько не уступает своему предшественнику.

Но сейчас из соседней комнаты, несомненно, доносилась иная музыка! Она напоминала простую сельскую пе-

сенку, печальную, жалобную. Иоганн Бетховен насупился. Мелодия росла, усиливалась, потом внезапно обрывалась. Будто итенец, запертый в своглице, билась она об оконное стекло, падала, отлетала назад и снова делала свой безнадежный бросок...

Отец ненавидел эти его занятия. Пустая трата времени! Недолго размышляя, он быстро вошел в комнату с набитым ртом и загремел:

— Что за чешуху ты бренчишь? Играй по нотам, большие пользы будет!

Мелодия тут же оборвалась.

— Это я сам придумал, — доверчиво признался мальчик. — Тебе нравится хоть немного?

Отец высокомерно фыркнул:

— Думаешь, твоя голова способна придумать что-нибудь дельное? На эти вещи у тебя еще будет времени предостаточно, а сейчас ты позаботься, чтобы уметь то, что нужно для концерта! Ты все хорошо помнишь?

— Да. Пустите меня погулять, папа! — просил мальчик.

— Я уже сказал тебе, — промямлил отец, прожевывая кусок рыбы, — как поем, так устрою проверку. И если все не будет как по маслу, о гулянье и не помышляй!

Отец вернулся в кухню, оставив дверь приоткрытой. Внимательно прислушивался. Из комнаты теперь доносились только звуки сочинения, подготовленного для первого публичного концерта.

Наконец Иоганн Бетховен встал, допил вино, вытер губы тыльной стороной ладони и направился к сыну.

Мать сидела со своим шитьем у окна и с беспокойством следила за ним. Такие смотры искусства начинающего виртуоза нередко кончались затрепцинами и плачем.

— Так! А теперь начинай, — сказал отец и придвинул свой стул ближе к роялю.

Смуглое лицо Людвига от страха и волнения побагровело. Руки бесконечное множество раз пробегали по кла-

вишам, но он ни разу не взглянул в ноты. И все же в одном, особенно трудном месте отец усмотрел ошибку.

— Стой! — закричал он. — Вот отсюда, — показал пальцем в ноты. Сам он не был хорошим пианистом, но ощущение точности исполнения жило в нем с детства.

Людвиг снова проиграл трудный пассаж. Ему казалось, что без ошибок.

— Почему в середине ускорил? — сурово спросил отец.

— Я не ускорял.

— Ах нет? Так проиграй снова.

От боязни споткнуться в трудных тактах мальчик и в самом деле несколько превысил темп. Очень уж хотелось ему скорее сбежать во двор!

Людвиг начал снова. И опять в том же месте та же ошибка. Он затрепетал, а гнев отца нарастал.

— Черт возьми, почему ты не держишь темп? Тебе следовало бы дать по пальцам!

Мальчик покраснел еще сильнее, волнение сковывало, тон прозвучал уж совсем нечисто. Отец вскочил:

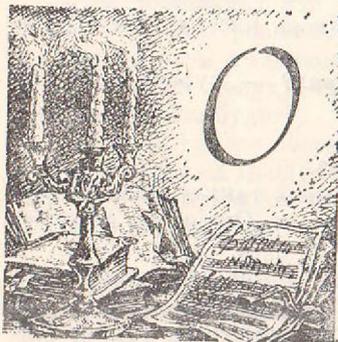
— Так вот что называется хорошо выучить! Хорошо, и научу тебя упражняться добросовестно!

Мальчик втянул голову в плечи, ожидая удара. Но Иоганн Бетховен поступил иначе. Он бросился к двери, гремя ключом.

— Так и знай: не выйдешь отсюда до полуночи. Будешь упражняться до тех пор, пока не будет ни единой ошибки. И посмей мне солгать, что готов, пока действительно не выучишь все!

Он хлопнул дверью, ключ повернулся в замке, и мальчик остался один. Мгновение Людвиг сидел в оцепенении. Потом его губы горестно скривились. Тело сотрясалось от плача. Из глаз хлынули слезы. Он старался удержать их: ведь отец мог вернуться в любую минуту! Он плакал и играл. С отчаянием и упорством. Ведь только безупречная игра могла принести избавление.

Между тем отец уходил из дома. Он никому не сказал, когда вернется. Ключ от комнаты, где сидел Людвиг, он положил в карман своего жилета.



и стоял под Рейном в сгущающихся польских сумерках. «Чудо-ребенок» не остается ребенком вечно. Играет ли он на рояле или забавляется мячом. Людвигу скоро исполнится двенадцать лет. Мальчик, правда, невелик ростом, но плечист и крепко сбит.

Благодатны эти склоны старого крепостного вала! С утра здесь маршируют солдаты курфюрста, а к ве-

черу охотно сходятся жители города, ибо здесь всегда есть чем полюбоваться. У подножия заросшего травой вала катят свои волны величавая река, усеянная множеством судов, больших и малых. Кто насытится зрелищем играющей водной глади, может обратиться в другую сторону. Он увидит раскинувшийся город, силуэт которого образуют крыши величественных строений. А над ними высятся многочисленные башни костелов. Самый древний из них насчитывал пять башен, и та, что находилась в середине, устремлялась ввысь почти на девяносто пять метров.

Юный Бетховен не замечал ни красоты города, ни величия Рейна, совершенно поглощенный беседой с человеком странного вида. Необычность его облика создавало не платье — такой же черный сюртук и треуголку носила большая часть мужского населения города, а его силуэт. Издалека могло показаться, что это согбенный старец. Вблизи было видно, что ему нет и сорока. При нескладном теле его голова была на удивление изящной и

благородной. Высокий чистый лоб, свежий цвет лица, темные глаза, светящиеся умом, — все это в рамке волнистых каштановых волос. Темные локоны — в Бонне явление редкое, можно сказать, исключительное: ведь придворному органисту и капельмейстеру придворного театра не положено ходить без парика. Но жители Бонна уже привыкли, что Кристиан Готлиб Нефе ведет себя как ему заблагорассудится. Он отличается и отменным умом, иначе разве мог бы он так пленить Людвиг? Ведь мальчик далеко не каждому открывает свое сердце.

К княжескому органисту, появившемуся в Бонне около трех лет назад, он привязался так, как мог бы быть привязан к отцу, если бы Иоганн Бетховен сам не оттолкнул мальчика.

— Так вы придете сегодня к нам, маэстро? — уже в который раз спрашивает мальчик задумавшегося Нефе.

— А это очень нужно? — неуверенно отговаривается органист.

— Мы были бы так рады! Мамин день рождения — еще лучше, чем сочельник. Кажется, это единственный день в году, когда она бывает счастлива. Было бы так жаль, если бы вы не пришли...

Мальчик ждал ответа, в то время как мысли органиста были совсем о другом. Но он решил в конце концов, что было бы бессердечно отвергнуть такое искреннее приглашение.

— Приду, приду, мальчик, — ответил он задумчиво и несколько живее добавил: — Только бы отец не был чересчур... Я страшно не люблю... — Он не договорил, но отвращение к пьянству было написано на его лице, на котором сразу прорезались морщины.

— Нет, нет, — поспешно заверил мальчик. — На мамин день рождения! Никогда! У нас в этот день бывает мир и благоволение! Да у него и времени на это не бывает, он весь вечер музицирует.

— Музицирует... Да, да, — повторил органист расстроенно, занятый какой-то неотвязной мыслью и плохо

понимавший, о чем говорит мальчик. Потом вдруг воскликнул: — Музыка! Да! В ней красота, величие, счастье. Но, Людвиг, если бы я не верил, что искусство пужно людям, как хлеб, я сказал бы тебе кое-что!

— Что, маэстро?

— Я сказал бы: мальчик, беги от рояля, оставь музыку и стань булочником. Живя в страхе божьем, ты толстел бы поемногу, владел бы участком земли и виноградником на берегу Рейна, жил бы в собственном доме. Или стань цирюльником, сапожником — все лучше, чем быть музыкантом его курфюрстовой милости!

— Скажите, маэстро, а почему же тогда вы не стали заниматься ремеслом? — В глазах мальчика светилось лукавство.

— Например, портновским, да? Конечно, мой отец мог научить меня обращаться с ножницами, иглой и утюгом. Но меня влекло искусство: музыка, театр, поэзия. Я не мог устоять.

Он вздохнул, помолчал и снова заговорил:

— Говорят, что в болотистых местах блуждают огоньки, способные увлечь человека в гибельную трясину. Я не верю в эти рассказы. Но знаю, что искусство — это великий огонь, поднимающий человека к сказанным высотам. Кто однажды связал свою судьбу с искусством, уже никогда не сможет жить без него.

— Я узнал ноты раньше, чем азбуку, — задумчиво отозвался мальчик.

— Это мне известно, — сказал его горбатый спутник. — Я еще не встречал человека, до такой степени одержимого музыкой. А кто, собственно, занимался с тобой?

— У меня, маэстро, было много учителей, и ни одного настоящего. Отец был первым и самым пезадачливым. Что он умеет всерьез? Когда он играет на рояле, думаешь, что он ведь, собственно, скрипач; если возьмется за смычок, сразу жалеешь, что он не отдался целиком фортепьянной игре.

— Мне кажется, что учителем Людвиг Бетховена был сам Людвиг Бетховен.

— Да, до тех пор, пока в Бонн не приехали вы.

Нефе только махнул рукой.

— Человек может быть учителем самому себе. И от этого имеет ту выгоду, что не должен платить.

— Вы тоже учите меня бесплатно!

— Это не совсем так. Разве ты не играешь на органе в церкви, и потом, если я буду учить какого-нибудь княжеского сынка, ему придется платить за себя и за тебя.

— Это было бы несправедливо, маэстро.

— Он всего-навсего заплатил бы свой долг. Все князья в долгу у своих подданных. В сущности, курфюрст должен чуть ли не каждому жителю в округе.

— Он и у вас занимал? Я и не знал!

Нефе смеялся.

— Конечно. И у твоего отца тоже.

— Ну нет, маэстро, у нашего отца невозможно занять ни гроша. Его карман всегда пуст.

— Потому, что вашего отца обкрадывает его светлость.

Удивленный мальчик молчал. Уж не заболел ли его учитель?

— Вы говорите загадками, маэстро!

Нефе остановился, на лице его блуждала странная улыбка.

— Если бы мы жили несколькими милями западнее, ты бы знал не только загадку, но и отгадку.

Людвиг обратил вопрошающий взгляд в ту сторону, где солнце медленно садилось за верхушки невысоких холмов. Ничего не понимая, он пожал плечами.

— Во Франции уже кое-что сдвинулось, не то что у нас. Для них скоро взойдет солнце, — продолжал органист.

— На западе, маэстро? — В умных глазах мальчика отразилось недоумение.

Горбатый музыкант взял его под руку, и они пошли по тропинке вдоль Рейна.

— Мне нужно научить тебя многому другому, кроме музыки, чтобы ты видел немного дальше своих клавиш.

— А что я должен видеть?

— Ну, например, чем отличается княжеский музыкант от охотничьей собаки его милости?

— Музыкант от собаки?

— Разница вот какая: собака всегда накормлена, хотя не очень надрыгается, ведь господа на охоту ездят нечасто. А княжеский музыкант наоборот: хорошо накормлен редко, зато трудится непрестанно. Ведь князь хочет слушать музыку каждый день. И мы играем во время утренней литургии, дабы князь с приближенными не заснул, играем во время обеда, дабы пища лучше ими пережевывалась, музицируем вечером, дабы развлечь их перед сном.

— Трудиться должен каждый!

— А ты видел когда-нибудь милостивейшего господина работающим на винограднике?

— Он же богатый, зачем ему работать?

— Потому он и богатый, что других обкрадывает. Между князьями и разбойниками нет большой разницы.

Людвиг был ошеломлен речами Нефе, но чувствовал, что его учитель рассуждал справедливо. Ему было понятно и то, что тот ставил на одну доску князей и разбойников. В самом деле, разве князья не отнимают урожай у земледельца, плоды труда у ремесленника и все, что только можно отнять, у художника?

— Мы рабы, — мрачно и гневно доносился голос органиста. — Захочется господину, и будем ползать перед ним на четвереньках!

— Я не буду, — отрезал мальчик, и его лоб прорезала строптивая складка.

Нефе горестно усмехнулся:

— Наши хозяева держат бедняков за ошейник. А художники, творцы красоты, бродят от двора к двору как бездомные псы. Подставляют свой ошейник и просят: сделайте милость, возьмите меня в услужение!

Людвиг остановился, уязвленный на этот раз до крайности. Он воззрился на ожесточенное лицо своего спутника.

— А я не хочу быть господским лакеем! Я не буду ходить от двери к двери, подставляя свой ошейник! Маэстро, скажите ради бога, что мне делать?

Нефе ответил не сразу. На лице его отразилось тайное удовлетворение.

— Этого я и хотел, мой мальчик! Услышать твой вопрос: что нужно делать? Но ведь и я хотел бы знать ответ на этот роковой вопрос.

— Можете ли вы мне что-нибудь посоветовать?

— Себе — нет. Тебе — да.

Княжеский органист не успел ответить, как раздался привычный звон соборного колокола. И сразу, будто только и ждали этого сигнала, заговорили колокола иезуитского и францисканского монастырей, а потом зазвонили во всех городских и сельских костелах.

Юный Бетховен снял шляпу и тихо читал молитву. Нефе был протестантом, но и у него при звоне колоколов в католических храмах выражение лица смягчалось. Ему бы несдобровать, если бы кто-нибудь увидел его в этот момент в головном уборе! И без того у него было много врагов, возмущенных тем, что архиепископ держит у себя на службе приезжего иноверца.

Когда смолк тягучий перезвон, Людвиг быстро надел шляпу.

— Ну, теперь, маэстро, пожалуйста...

Нефе в замешательстве потер лоб.

— Говорить об этом нужно спокойно и не торопясь, а нам пора идти, мальчик. У меня урок в доме французского посла. А тебе нужно играть. Возможно, вечером...

— Значит, вы придете к нам? — Глаза Людвига засветились радостью.

— Я уже сказал.

Они расстались у городских ворот. Людвиг шагал по-

рывисто, весь устремившись вперед, низко наклонив голову, будто ему трудно было держать ее под тяжестью мыслей.

— Что может посоветовать мне маэстро? Курфюрсту служил дед. Служит отец. Все известные музыканты на господском жалованье. Они дрожат от страха, как бы не утратить и этого. Будет ли мое положение таким же жалким? Или совершится какое-то чудо? Ведь маэстро никогда не говорит попусту. Какой-то план для меня у него есть. Но почему же он сам не следует ему?

В голове теснилось множество вопросов, когда он входил во двор дома пекаря Фишера, в котором ютилась и лавочка для продажи булочных изделий.

У входа его ожидала встреча с отцом, только что вернувшимся из города и несшим в руке корзину, полную бутылок с вином.

— Как, ты не играешь? — удивленно воскликнул он. Спросил без злобы. Обманувшись в своих надеждах сделать из Людвига чудо-ребенка, он перестал заботиться о его упражнении. Отец был только удивлен тем, что увидел сына во дворе и из дома не доносились звуки рояля.

— Но я уже иду, папа, — усмехнулся мальчик.

Людвиг знал, что в соседних комнатах уже разыгрывается пленительное зрелище, с малых лет знакомое и любимое. Так соблазнительно захлопнуть крышку рояля! Но он умеет приказать себе: «Все могут, ты не смеешь!»

Уже девять часов, и на улице тьма непроглядная. Двери комнаты остаются закрытыми, и все же чуткое ухо Людвигу улавливает путаницу непривычных звуков. Слышит приглушенные мужские голоса, шум передвижаемой мебели, женский смех. А вот кто-то тихо настраивает скрипку, и ей как бы затаенным смехом отзывается флейта.

Людвиг стремительно поднялся. Пора пойти к семье и

гостям. Может быть, уже пришел Нефе со своей тайной?

Гостями были сплошь друзья супругов Бетховен, члены архиепископской капеллы и оркестранты.

Придворный органист Нефе появился последним. На этот раз он был в парике, в темно-коричневом сюртуке, под подбородком белел густо присборенный шейный платок. Под мышкой он нес черную папку для нот, на которой была видна надпись крупными буквами: «Музыка». «Что это может означать?» — думал Людвиг. Музыканты, которые пришли, чтобы поздравить хозяйку дома и сыграть для нее, обычно сами заботятся о нотах!

Две лучшие комнаты дома были непривычно освещены. В каждой комнате горело по двенадцати свечей, вставленных в трехрогие подсвечники, одолженные у соседей. Музыканты уселись у пуфтов. Людвиг взялся за скрипку. За рояль, сдвинутый к самой двери, сел Нефе. Все ожидали его сигнала. Едва он кивнул головой и коснулся пальцами клавиш, как зазвучала ликующая музыка — серенада хозяйке дома.

У старшего Бетховена в руках не было никакого инструмента. Ему была отведена особо почетная роль.

Одетый в свое лучшее платье, он подошел к дверям спальни, постучал, вошел и сразу же появился с женой, которая была облачена в шелковое платье и в белоснежный парик. На ее натруженных руках были длинные кружевные перчатки. Снова грянула музыка. Теперь это был уже изящный марш, и под его звуки супруги прошептали к некоему трону, установленному под пышно украшенным портретом деда Людвига. Троном служило старое фамильное кресло.

Длинные гирлянды превратили кресло в нечто волшебное-прекрасное. Таким оно, во всяком случае, казалось Людвигу и его младшим братьям. Глазами, полными восторга, смотрели они на свою мать, идущую мелкими шажками рядом с отцом. Сегодня ее продолговатое, исхудавшее лицо светилось какой-то особенной мягкостью.

Когда смущенная госпожа Бетховен села, музыка умолила. Настало время поздравлений.

Первым пролетел что-то маленький Николай, потом отбарабанил поздравительные стихи Каспар, и наступила очередь Людвига, до крайности растерянного и смущенного. В последнюю минуту к нему подошел Нефе, всунул в руку черную папку и прошептал:

— Это подарок для мамы. Вручи ей.

Как было не волноваться, когда Людвиг даже не знал, что держит в руках! Но нужно было идти, потому что отец уже приближался к креслу.

Все четверо мужчин из семьи Бетховен вручили матери по букету цветов и поцеловали ей руку. После ее приветствовали таким же образом и остальные гости: дамы, разумеется, только пожали ей руку.

Госпожа Бетховен получила единственный подарок — таинственную папку с золоченой надписью. И не знала, как поступить с ней. Открыть? Посмотреть? Зачем ей ноты? Ведь она не музыкантша.

Когда она открыла папку и взглянула на заглавный лист, лицо ее от неожиданности вспыхнуло румянцем. Из-под длинных ресниц сверкнули слезы.

— Людвиг! Мальчик мой! — Она не могла произнести ни слова из-за подступивших слез и протянула руки к Людвигу.

Сын приблизился, окончательно сбитый с толку ее восторгом от подарка, который приготовил для мамы Нефе. Мать прижала его к себе, и они вдвоем прочитали надпись на титульном листе. Глаза Людвига, будто притянутые магнитом, смотрели неотрывно в нижнюю часть листа, где было выведено: «Сочинил юный любитель музыки Людвиг ван Бетховен».

Глаза Людвига широко раскрылись. Это в самом деле его имя? Не просто написанное пером, а напечатанное, как будто он настоящий композитор! И он понял... Этот Нефе — настоящей чародей. Нефе — его чудесный друг!

Людвиг вспомнил, как играл недавно своему учителю

вариации на тему какого-то марша. Это было его любимое занятие — взять какой-нибудь известный мотив и разработать его.

Нефе эти вариации понравились, и он заставил Людвига записать их. И вот что из этого вышло! Нефе отдал их напечатать.

Гости окружили кресло госпожи Бетховен. Они всматривались в ноты и удивленно покачивали своими париками. Двенадцатилетний сочинитель, каково! Ни один из присутствующих музыкантов не мечтал, чтобы его сочинение было издано, и вот чудо: сынишка Бетховена, у которого еще и пушок на губах не пробивается, уже удостоен такой чести!

— Сыграть, сыграть! Людвиг, садись за инструмент!

Он сел к роялю, раскрасневшийся, немного испуганный оттого, что приходится играть свое первое сочинение перед публикой. Но после первых же тактов боязни как не бывало... Умолкли дружные аплодисменты, и Людвиг истово раскланялся, лицо его оставалось очень серьезным.

Потом сыграли всем ансамблем, а госпожа Бетховен слушала их, сидя в своем торжественно убранном кресле.

Одна из дам спела, и в шумном всплеске аплодисментов, когда она кончила арию, молодой сочинитель услышал у своего уха шепот:

— Ты бы не хотел немного пройтись, Людвиг?

Они незаметно выбрались из толпы гостей, окруживших певицу, и Людвиг повел учителя за руку по ступеням винтовой лестницы. Она была слабо освещена красной лампой, висевшей там, где лестница делала поворот.

Улица была пустыня. Месяц освещал ее лучше, чем редкие фонари. Стояла тишина, и лишь из светящихся окон Фишера во втором этаже доносился приглушенный шум. Две темные тени в полумраке все дальше и дальше удалялись от этих окон.

— Маэстро, — растроганно проговорил мальчик, — я

так вам благодарен. Если бы вы знали, сколько радости вы доставили сегодня маме!

— Но это же был твой подарок, Людвиг, не мой! И не за тем я вытащил тебя в эту тьму, чтобы ты благодарил меня. Мне нужно поговорить с тобой о другом.

— Догадываюсь, маэстро...

— Я давно к этому готовлюсь. — Горбатый органист наклонил голову, явно раздумывая, как ему пачать. — Ты говорил, Людвиг, что у тебя было много учителей. Почему ж ты не назвал лучшего из них, Тобиаса Пфейфера? — Краем глаза он испуганно взглянул на мальчика.

Людвиг вздрогнул, его будто стегнули прутом.

— Мы обязательно должны сейчас говорить об этом человеке?

— Да, должны. Это великий музыкант. Скажу больше — гениальный. Певец, актер, скрипач, пианист, флейтист, а в игре на гобое ему нет равных.

— Да, это правда. Но, пожалуйста, маэстро, чем меньше мы будем говорить о нем, тем лучше. Я рад, что он пробыл в Бонне только год.

— Мне приходилось слышать, что он был к тебе чрезмерно строг.

— Строг? — Мальчик мрачно рассмеялся. — Беспощаден! Да если бы он подобным образом обращался с лошастью, и то люди возмутились бы. Но мне следовало бы рассказать все по порядку.

— Этого я и хочу.

— Когда Пфейфер появился в Бонне, отец предложил ему поселиться у нас. Потом договорились, что вместо платы за стол и квартиру он будет учить меня. Он и учил — на рояле, на флейте, на скрипке. О каком бы предмете из любой области музыки ни шла речь, Пфейфер неизменно был осведомлен. Он умел все: от прекрасного исполнения самых серьезных музыкальных произведений до виртуозного подражания всевозможным птицам.

Больше всего мы, дети, любили, когда он превращался в волшебника. Из его пальцев вещи исчезали и сра-

ду же являлись в другом месте. Он умел превратить в ничто серебряную монету и потом вытащить ее у кого-нибудь из-за уха.

Он не был плохим наставником для меня, пока оставался трезвым. Но горе было, когда он запивал! Как в сказке, превращался он из веселого человека в дикого зверя. Сколько раз бывало, что они возвращались с отцом из трактира за полночь, и его вдруг осеняло, будто со мной в этот день не занимался. Они извлекали меня сонного из постели и тащили к роялю. Мне было тогда восемь лет. Можете себе представить, как я пугался. Я отбивался от них изо всех сил. Матушка заступалась. Но они все равно заставляли. Приходилось садиться за рояль и играть до утра. Слезы заливали мне лицо, а я не мог их даже вытереть.

Если я уж слишком сопротивлялся, они зашпорили меня в чулан, набитый ружьядью, давали в руки скрипку, показывали в нотах какое-нибудь трудное место и приказывали:

«Играй! До тех пор играй, пока не будет ни малейшей ошибки!»

И я играл при свече, а потом впотьмах. А мои учителя сидели в кухне, допивали принесенную бутылку и слушали. И удивительно то, маэстро, что я не питал злобы к Пфейферу. Он-то, наверное, считал себя правым. Часто он кричал мне: «Только работай, работай, как одержимый! Я сделаю из тебя настоящего музыканта!» Не люблю вспоминать Пфейфера, не хочу о нем слушать, но и дурного слова не скажу. Мне всегда почему-то казалось, что он страшно несчастен.

— Ты прав. Он был одним из немногих музыкантов, остро ощущавших унижительность своего положения. Великий художник — и, в конце концов, господский лакей. Оденут его в ливрею: иди, слуга, пой во время ужина, чтобы милостивый господин лучше пережевывал жаркое из поросенка! Дух и денежный мешок противостоят друг другу. Труженик против дармоеда!.. Ну, не хмурься, ты

тоже ходишь в замок в лакейской ливрее, с той разницей, что слуги носят красный фрак, а мы, музыканты, зеленый.

— Маэстро, вы уже говорили сегодня об этом. Мне тяжело это слушать. Лучше посоветуйте, как освободиться от этого рабства. Вы же мне обещали. И почему мы должны говорить о Пфейфере?

— Потому что я хочу от тебя того же, чего и он хотел!

Нефе остановился, положил свои длинные руки на плечи мальчика и с силой сжал их. Людвиг почувствовал, что наступила минута, когда он узнает то, чего так жадно ожидал.

— Людвиг, крепко заломни то, что я скажу тебе сейчас, в день рождения твоей несчастной матери! У тебя есть единственный путь выйти из униженного состояния: стать художником, таким большим, что не ты должен будешь кланяться князьям, а они тебе! Заставить мир слушать твою музыку с трепетом, а каждое твое слово с уважением!

Слова Нефе звучали с такой страстью, что мальчик задрожал. Несчастный горбатый музыкант, один из самых образованных людей Германии, вложил в них всю горечь пережитого, всю мудрость, которую он вынес из борьбы с тяготами жизни.

Юный Людвиг не представлял себе в эту минуту, какие долги годы непосильного труда ему предстоят, не думал он и о том, что художника чаще венчают терновым венцом, чем золотым. Но его обрадовало то, что учитель верит в его предназначение.

— Вы думаете, что я мог бы стать таким, маэстро?

— У тебя есть дар, — серьезно произнес органист.

— У Пфейфера он тоже был!

— А умрет он где-нибудь в канаве, как нищий. Я не без умысла заставил тебя вспомнить о нем. Ты видишь, как низко может пасть человек, даже обладающий талантом. Дарование — это еще не все, оно может погиб-

нуть, если дано человеку, не обладающему дьявольским упорством. Запрети, запрети себе навсегда произносить такие слова, как я не могу, мне не хочется, я не знаю! Потерпишь неудачу — начни снова! Сто раз потерпишь неудачу — сто раз начни снова!

— Кажется, я кое-чему все-таки научился, маэстро!

— А и это заслуга Пфейфера! Он научил тебя понимать, что человек может одолеть любое препятствие. Иногда нужно атаковать тысячу раз, чтобы твердыня наконец пала. Достаточно и щепотки дарования, а упорства нужен океан. И на этой паре ты мог бы прийти к цели, если бы мир был устроен разумно. Но в наше время необходимо иметь тройку.

— Что вы имеете в виду, маэстро?

— Эта тройка такова: дарование, упорство и уверенность в себе. Я не говорю — гордыня. Храни тебя бог от нее, я говорю — уверенность в себе. Кто хозяин мира? Дворяне, князья, епископы — тираны всех мастей. Умные это люди? Редко. Они презирают тех, кто не родился во дворце, как они. Думают, что народ создан для того, чтобы угождать им. Я же говорю: народ существует для того, чтобы править!

В сумрачном свете месяца и в отблесках фонарей лицо Нефе было очень бледным. Глаза его горели. Голос прерывался от волнения.

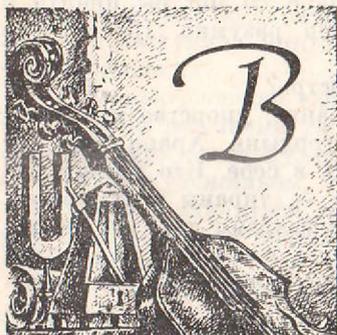
— Я знаю, что говорю, мальчик. Жалею, что припел к этой мудрости так поздно! Начищенный сапог с золотой шпорой награждал меня шпиком не раз. Конечно, бывает, что и среди знати встретишь душу мудрую и добрую. К таким относись по-дружески. Но с остальными властью имущими держись гордо! За всех нас, поверженных, изнуренных, полуголодных. Докажи им, что ты выше их. Жизнь двигают вперед только труженики и мудрецы, а не те, что только и умеют размахивать бичом.

— Маэстро, не знаю, сумею ли я... — начал неуверенно Людвиг, глядя в землю.

— Не сумеешь? — закричал Нефе. — Я приказал

тебе забыть это слово! Ты сумеешь! Ты должен стать величайшим музыкантом из всех, которые когда-нибудь жили на земле! Такова цель!

Мальчика поразила страстная речь Нефе. Он понимал, что в эту летнюю ночь в уличном сумраке произошло что-то важное. Рука его учителя твердо начертала линию его жизни. И он принял наказ, еще не зная, как сумеет осуществить его.



маленькой комнате, где спал Людвиг в детстве, висела небольшая картина, всегда волновавшая его. На ней был изображен блестящий дворец курфюрста, увенчанный башенками, с массивными трехстворчатыми воротами. Вся эта величавая красота, воплощенная в камне, была охвачена гигантскими языками пламени и окутана дымом.

На этой дешевой картине все выглядело еще ярче, чем в действительности. Жгучие языки пламени походили на адские фонтаны, бившие из дверей, из слуховых окон и из башенных отверстий.

Художнику удалось донести до зрителей ужас роковой ночи пятнадцатого января 1777 года, когда предмет гордости города пожирала беспощадная стихия. На первом плане он изобразил мужчину, женщину и ребенка. Вся семья в отчаянии воздевала руки к небу, моля о помощи. Стоящий сбоку барабанщик сзывал спасителей, которые приближались к месту бедствия на удивление размеренным шагом...

Черную страницу из недавнего прошлого родного города Людвиг знал не только по этой цветной гравюре.

Ему тогда было шесть лет, но он до сих пор помнит, как, охваченный ужасом, смотрел издали на рухнувшую крышу и обвалившиеся стены. Своей малелькой рукой Людвиг судорожно сжимал руку матери, уверенный, что она может защитить его от разрушительного огня.

Княжеские слуги пытались спасти хоть что-нибудь. Самоотверженный архивариус Эмануэль Брейнинг поплатился жизнью, спасая дворцовое имущество. И из всех потерь, которые понес в эту ночь город, эта, пожалуй, была самой тяжелой, потому что он был человеком редкостной образованности и отзывчивости, неизменным покровителем науки и искусства. Вокруг него спланивалась и расцветала духовная жизнь города.

Его жена, которой едва минуло двадцать семь лет, осталась одна с маленькими детьми. Ей назначили приличествующую пенсию, но самым лучшим наследством, которое ей оставил муж, были любовь и уважение жителей города. Для каждого из них имя Брейнинга было окружено ореолом.

К этому приветливому дому и после гибели Брейнинга тянулись люди, ценившие духовность выше богатства.

Детей в семье было четверо: Кристоф, Лорхен, Стефан и Лоренц. И все моложе Людвига. Дочери и младшему сыну Людвиг уже начал давать уроки игры на фортепьяно.

Когда в конце июля Людвиг получил наконец давно ожидавшееся извещение о назначении на должность помощника органиста с жалованьем в сто пятьдесят дукатов в год, он прежде всего поделился своей радостью с матерью, а потом задумался: куда бежать дальше? Сообщить приятную новость госпоже Брейнинг или маэстро Нефе? Он уже привык делить с ними и радость и горе.

Наконец он все-таки отдал предпочтение органисту. Возможно, что и тот успел получить княжеское распоряжение.

Он вбежал в комнату, заставленную всевозможными музыкальными инструментами, и подал учителю бума-

гу. Сгорбленный капельмейстер погладил счастливого мальчика по жестким черным волосам и сказал:

— Я бы поздравил тебя, если бы ты не был Людвигом Бетховеном. Твоему брату Каспару я бы сказал: желаю тебе успехов, мальчик! Твой дед начинал так же и стал капельмейстером и уважаемым человеком в городе.

— А мне вы не скажете ничего? — огорченно выговорил Людвиг.

Нефе пожал плечами:

— Для другого четырнадцатилетнего мальчика место помощника органиста могло стать началом карьеры. Для тебя оно может стать началом конца.

Людвиг смотрел на него удивленно.

— Ты уже забыл, что твой путь должен быть иным? Ты непременно должен ехать в Вену. Учиться! Чтобы Моцарта догнать, а бог даст, и перегнать! А оставаться княжеским лакеем что хорошего?

— Но князь, как видно, совсем незлой человек, если обещает платить мне сто пятьдесят дукатов в год!

— Это не благоденствие, а господская хитрость! Они покупают целого музыканта за половинную плату. То, что тебе всего четырнадцать лет, не имеет никакого значения! В нашем крае нет лучшего пианиста! Да и в игре на виоле, органе и флейте ты не уступаешь взрослым музыкантам.

Озадаченный Людвиг молчал, а Нефе в раздражении пересек комнату и встал у окна. Глядя на улицу, он глухо произнес:

— Они уже поняли, чего ты стоишь, и решили удерживать тебя здесь. А мне готовят петлю на шею.

Слова Нефе были полны такой горечи, что Людвигу пришло в голову — капельмейстер смотрит в окно, чтобы скрыть огорчение, отразившееся на его лице.

— Вам тоже прислали извещение? И плохое? — встревоженно спросил Людвиг.

— Мне уже готовят его! — Нефе резко повернулся. — Я знаю, какое решение подготовили князю. У ме-

ня есть не только недруги, есть и друзья, сообщившие мне об этом.

Он вытащил из кармана какой-то листок бумаги и развернул его:

— «Христиан Готлиб Нефе, тридцати шести лет, женат, имеет двух дочерей. Служит три года, был театральным капельмейстером. Жалованье 400 дукатов в год. Органист. Может быть уволен от службы, ввиду того что на органе играет посредственно. Кроме того, он не является коренным жителем города. Веру исповедует протестантскую. Вместо него обязанности органиста мог бы исполнять другой музыкант, с жалованьем лишь в 150 дукатов, поскольку это еще подросток и к тому же сын придворного музыканта».

Он сложил бумагу и решительно засунул ее в карман. Людвиг стоял посреди комнаты потрясенный. Ему показалось, что пол под ним заколебался. Значит, за его повышение должен расплачиваться Нефе?!

— Господин Нефе, ради всего святого, не сердитесь на меня! — вскричал он. — Я не знал, что займу ваше место. Это вы-то плохой органист? Вы настолько выше меня, что я... — Он вдруг закрыл лицо руками и горько расплакался. — Я пойду в замок и брошу им этот приказ под ноги! Этим псам, этим...

— Молчи, молчи, мальчик! Запомни: я тебе ничего не говорил. Это верно, они псы. Злобные, завистливые псы! Их совсем не волнует, играю я на органе хорошо или плохо. Их больше беспокоит то, что я иной веры. Но и это не главное. Хуже всего для них то, что умею больше, чем иные, понимаешь? Потому меня и хотят вытолкать в шею. Когда-нибудь и ты изведешь такое.

Он обнял Людвиг за плечи, но тот вырвался из рук учителя:

— Пустите меня, маэстро, пустите! Я должен идти в канцелярию двора. Я разорву этот приказ на глазах у всех и брошу им в лицо!

Но Нефе не отпускал взволнованного мальчика.

— Не горячись, Людвиг! Какой от этого будет прок? Отнимешь у семьи сто пятьдесят дукатов, а она нуждается в них. И мне ты только хуже сделаешь. Господа очень пораздавались бы: «Посмотрите, Нефе патравил на нас молодого Бетховена! Воспользовался неопытностью строптивого мальчика. Гоните его за это с должности!»

— Но что же мне делать, маэстро? Мне так стыдно перед вами!

— Да чем же ты виноват? Если ты хочешь помочь мне, делай вид, что ничего не знаешь об их намерениях.

— И допустить, чтобы они вас выгнали? С двумя детьми и женой!

— Этого не случится, мальчик! В Бонне еще есть люди, которые объяснят князю, что во всех немецких землях не найдется чудака, кроме Нефе, который за четыреста дукатов будет дирижировать оркестром, играть в нем, ставить оперы, писать тексты и вести канцелярию.

Людвиг задумался. Если приказ еще не обнародован, может быть, и в самом деле не все потеряно. И сразу Людвигу стало легче.

— Маэстро, — сказал он, вздохнув с облегчением, — я пойду к госпоже Брейнинг и все расскажу ей. Ведь вы знаете ее? Она удивительно добра и очень мне помогла.

Людвиг быстро откланялся и выбежал из квартиры. На душе у него было скверно. Как долго он мечтал, чтобы ему платили за его труд! Изо дня в день он только и ждал, чтобы ему положили хотя бы маленькое жалованье.

Деньги обладают таинственной силой. Они способны даже вызвать улыбку на скорбно сжатых устах матери. И вот он не смеет принять эту плату, когда ему установили ее! Эти сто пятьдесят дукатов — тридцать сребренников за то, что он всадит нож в спину своему учителю!

А князь сэкономит на этом двести пятьдесят дукатов в год.

Людвиг бывал у Брейнинггов все чаще. Никогда до

этого у него не было друзей среди детей. Он жил и трудился, как взрослый.

Недавно Нефе отдал напечатать его новые фортепьянные пьесы. Но юному сочинителю и княжескому музыканту совсем не удавалось побегать по берегу и поиграть со сверстниками. Временами, бывая с детьми Брейнинггов, Людвиг превращался в беззаботного подростка. Он азартно бегал с ними в саду, но, когда садился за рояль, дети становились серьезными и словно выросли.

Людвиг чувствовал, что они восхищаются им, и, пожалуй, впервые в жизни это радовало его. Славы и оваций он немало знал с детства и привык к ним. Но признание маленьких друзей ценил по-особому.

Хозяйка дома, поняв, в какой нелегкой обстановке живет он в семье, быстро приохотила Людвигу заходить в ее дом каждый раз, когда его что-то угнетало или если хотелось с кем-нибудь поделиться радостью.

И Людвиг приходил. С отцом он не был близок, хотя и любил его, несмотря на все тяготы, которые тот приносил семье. А мать доброго, но слабого характера была плохой советчицей в горестях, которые то и дело одолевали мальчика. Вот и сейчас он шел сюда со своей бедой. Но то, с чем он пришел сюда, уже не было новостью.

— Все это мне уже известно, — сочувственно отзывалась хозяйка дома. — По самые темные тучи над головой Нефе уже рассеялись. Уволен он не будет, но ему предложат половинную плату.

Людвиг резко тряхнул головой.

— Половину! За все, что он делает! И эту сэкономленную половину хотят платить мне! — Он вскочил как ужаленный, порываясь сразу же бежать в замок.

— Сядьте, Людвиг, — приковал его к креслу рассудительный женский голос. — То, что вы хотите сделать, весьма благородно, но небезопасно. Положение вашего отца не так прочно, чтобы проявлять гордыню. Нужно искать иной путь для спасения Нефе. Мы ему посоветуем, чтобы он отказался от этой милостыни. Если он

проявит твердость, курфюрст вынужден будет пойти на уступки.

Четырнадцатилетний мальчик был еще не в состоянии проникнуть во все хитросплетения боннской жизни. Со временем он понял: дворец курфюрста не был единственным центром боннской жизни. Деньги и власть, коварство и фальшь вращались вокруг дворца. Остроумие, мудрость, искусство царили в доме Брейнингов. Каждый четверг вечером его наполняли люди, составлявшие избранное общество. Читались книжные новинки, игрались лучшие сочинения, обсуждались новости, заслуживающие внимания. Здесь спорили о серьезных вещах с невиданной свободой. Каждый мог иметь любое суждение, и каждый мог оспорить его. Все знали, что никто не побежит с доносом в епископский дворец. Бывая в доме Брейнингов, Людвиг Бетховен затаив дыхание ловил смелые речи. Здесь читались стихи, едва только написанные, здесь разыгрывались пьесы, еще не увидевшие сцены. И удивительно: все взволнованные речи велись непременно о свободе, о протесте против тиранов.

Здесь же появлялись и революционные прокламации из Парижа, а с ними отписанные на грубой бумаге сатирические стихи, полные насмешек над французским королем Людовиком XVI и его женой Марией-Антуанеттой.

Французская королева, ненавидимая народом, была родной сестрой боннского курфюрста. Казалось бы, как раз в центре Бонна было небезопасно читать издевательские куплеты, но никто не боялся. В прирейнских землях с интересом следили за тем, что происходит за ближайшими рубежами. Вся Европа пристально наблюдала за событиями во Франции. Было ясно, что там дело идет к кровавой схватке. Народ против короля. Бедность против богатства. Угнетенные против угнетателей. Революция стучалась в ворота дворцов.

В уютном доме Брейнингов, конечно, слышались не только мятежные речи. Чаще здесь беседовали об искус-

стве, звучали скрипка, рояль, флейта, вслух читались книги как современных, так и древних писателей.

Сейчас Людвиг внимательно смотрел на человека, убежденного сединой, с маленькой шишочкой на голове, который горячо доказывал, что произведения древних греков и римлян много выше современных, новых книг.

«Вот как... — раздумывал Людвиг. — Кое-кто поклоняется язычникам, которых давно нет в живых, а живого Нефе готовы растерзать только за то, что его христианское вероисповедание на волосок отличается от их такого же христианского вероисповедания!» Однако старый пастырь был не таков. Людвиг ошибался. Каноник Брейнинг, опекун Кристофера, Лорхен, Стефана и Лоренса, не мелок душой. Он часто вел беседы с Нефе, который иногда появлялся здесь.

Как-то он подсел на минуту к Людвигу, сидевшему в стороне от всех с чашкой кофе. Ему нравилось сидеть так, никем не замечаемым, так же как было ему по сердцу все, что он слышал здесь. Только что отзвучал отрывок из «Разбойников» Шиллера — страстный монолог против всего, что угнетало человека.

— Справедливые вещи пишет господин Шиллер, да и господин Гёте тоже, — начал старый каноник. — Вольтера я тоже почитаю, несмотря на его нападки на бога. Но, мальчик, если ты хочешь познакомиться с глубочайшими мыслями, какие только человеческая рука навозила на бумагу, читай Платона, Гомера, Сенеку.

— Я бы очень хотел, но мое образование так ничтожно! — вздохнул молодой музыкант. — Школу я посещал лишь до десяти лет. Только к гимназии подготовился. Отец всегда твердил мне: «Прежде всего учи латынь, остальное можешь спокойно пропускать мимо ушей. Она нужна тебе, чтобы ты мог петь в церкви». Так что попытки я немного читаю, а греческого не знаю совсем, даже алфавита.

— Это не страшно. Ты можешь читать в переводах.

— Я в самом деле отстал во многом. Я больше вре-

мении сидел над потными тетрадами, чем над школьными. С немецкой грамматикой у меня форменная война.

Людвиг опасливо ожидал, что каноник ужаснется его необразованности, но тот спокойно произнес:

— Я знаю людей, которые превосходно знают грамматику, но не видят дальше собственного носа. Тот же, кто полюбит мудрость древних, не может сам не стать мудрее.

Людвиг не жалел сил, стараясь пополнять свои знания. Читал по ночам, дорожил каждой секундой. И постоянно ощущал, как он отстал от молодых людей, бывавших в доме Брейнинггов. Зато у него уже есть имя. Недавно Людвиг прочитал в газете:

«Этот молодой гений заслуживает того, чтобы оказать ему поддержку и дать возможность ездить с концертами. Если он будет продолжать, как начал, он станет вторым Вольфгангом Амадеем Моцартом».

Но к чему все это, если «второй Моцарт» явно чувствует, как неловок он в обществе, неуклюж. Пробелы в знаниях сковывают его, будто кандалы. Неفه самоотверженно помогает ему, советует, добывает книги, но признает, что и в музыке Людвигу образования недостает.

Учитель делился с ним своими познаниями с максимальной щедростью и наконец вынужден был сказать ему:

— Скоро, Людвиг, я уже не смогу быть полезным тебе. Ты должен ехать. Ехать в Вену, к Моцарту. Только он может учить тебя.

Неслышанно смелый план! Моцарт — бог музыки. В Вене есть и другие мастера композиции, например Глюк и Гайдн, но они уже стары и миновали вершину своей славы. Мир верит в восходящую звезду, в Моцарта-пианиста, прославленного с детства композитора, создавшего мелодии, благозвучнее которых человечество еще не знало.

Людвига охватывает страх при мысли, что он окажется

ся лицом к лицу с великим Моцартом и скажет ему: «Я хочу быть вашим учеником!» Такое возможно только в воображении.

— С какой стати Моцарт будет интересоваться каким-то пришельцем из Бонна? — спрашивал он с горьким сожалением своего учителя.



еседа так стремительна, что собеседники не могут усидеть на месте. Один розоволицый, светловолосый, другой смуглый, с резкими чертами лица, брюнет. Комната невелика, к тому же ее загромаждает большой рояль, и они мечутся по свободному пространству, как разъяренные львы. Иногда они невольно уступают друг другу, когда чувствуют, что могут столкнуться.

Оба возбуждены и сильно жестикулируют. В речь немецкую иногда влетают слова итальянские, а в мелодичную итальянскую вдруг врываются грохочущие немецкие фразы. Их пылкая беседа совсем не ссора, это всего-навсего дружеские переговоры композитора и либреттиста.

Моцарт сочиняет новую оперу, а поэт Лоренцо да Понте — либретто к ней. Итак, музыка будет немецкая, а слова итальянские. В этом нет ничего удивительного! Сказал же кто-то в Вене, что если человек идет в оперу, то, разумеется, он идет в оперу итальянскую.

Сыны Рима, Неаполя и Венеции властвуют в европейской музыке как некоронованные короли. Лишь немногие решаются иногда заикнуться, что пора бы со сцены звучать родному языку вместо пришедшей итальян-

щины. Но разве порядочное общество станет посещать театр, со сцены которого звучит плебейская речь!

Вольфганг Амадей Моцарт, которому минул тридцать один год, уже сделал безуспешную попытку создать немецкую оперу и уж теперь-то будет держаться привычного порядка! Либретто будет итальянским, это несомненно.

К сожалению, у них разные взгляды на главного героя оперы — Дон-Жуана. Моцарт быстро мелькает по комнате, как смычок в руках скрипача, и страстно протестует:

— Вы делаете из Дон-Жуана какого-то шута, только для того и присутствующего в опере, чтобы смешить публику!

Но и да Понте обладает бурным темпераментом, его речь льется с неслыханной быстротой:

— Только так и должно быть. Опера о Дон-Жуане может быть только комической! Вы напишете веселую музыку, а я текст, который будет сверкать остроумием. Моцарт отрицательно повел пальцем.

— Я не обязан поступать, как все. Театр должен быть правдив, как сама жизнь!

— Но вы, маэстро, копаете могилу своей славе! Смотрите, как бы в театре не оказалось ашлодирующих только двое: я и вы. Общество хочет повеселиться. Никто вас не поймет!

— Не поймут? Я пишу Дон-Жуана для пражского театра. А на чешской земле меня поняли, как нигде в мире. Если бы вы видели, с каким воодушевлением меня там встречали в этом году, в январе! Вы, итальянцы, думаете, что понимаете музыку, как никто, но представьте себе, в Праге в музыке смыслит каждый дворник!

— Ну-ну-ну! — оскорбился да Понте.

— Хотите доказательства? Так вот послушайте! Однажды мы с женой ехали в Прагу, и на окраине города возница остановился перед маленьким трактиром. Говорит, дескать, промерз до костей. Да и немудрено! Мороз

стоял лютый, воздух так и обжигал! Жене не захотелось вылезать из-под меховой полсти, а я выбрался из возка и, хотя корчма была незавидная, пошел вслед за возницей. Она была полна народу, и, судя по одежде, небогатого. Кольчиги льда, кучера, плотники — словом, разный ремесленный люд предместья, никаких господ! В углу настраивал арфу невзрачный старичок в поношенном пальто... Настроил, заиграл. И что же вы думаете, я услышал? Напев из моей оперы! Из «Свадьбы Фигаро»! Старый арфист отнюдь не был виртуозом, но играл он с увлечением. И в трактире вдруг все стихло... Эти оборванные дровосеки, поденщики дружно подпевали артисту. Итальянских слов они, разумеется, не знали, и подпевали: та-та-там, та-та-там, та-та-там-там... Но как! С таким удовольствием, с таким жаром.

— Ну, пожалуйста, я ведь не против, — быстро смирился да Понте. — Вы сами лучше знаете, что для вас...

Он не закончил. Дверь открылась, и вошла жена Моцарта — миловидная, улыбающаяся. Она держала в руках письмо.

— Тебя спрашивает какой-то юнец. Такой смуглый, мрачный. Хочет поговорить с тобой, Вольфганг. Это его рекомендация. — Констанца отдала мужу письмо.

Моцарт взглянул на листок. Это была визитная карточка. На ней красиво было выведено:

Людвиг ван Бетховен

— Вам известен этот человек? — спросил он, подавая карточку да Понте.

Да Понте недовольно скривил губы:

— Наверное, барон какой-то, раз «фон».

Моцарт нахмурился:

— Недоставало мне какого-то взбалмошного дворянчика! Вы знаете, как я «люблю» этих господ. Того и гляди, он станет демонстрировать мне свое умение играть на фортепьяно! Вечно кто-нибудь лезет в мой дом

и требует, чтоб я объяснил ему, как отличать белые клавиши от черных!

— К вам стремятся... Ведь повсюду идет молва, что у Моцарта добрая, ангельская душа.

— Только ангелам на небе обеспечено полное содержание, а я должен кормить семью. Однако бедному музыканту я с удовольствием помогу...

Моцарт вскрыл конверт, взглянул на письмо и сказал:

— Какой-то пианист из Бонна. Подождите, пожалуйста. Я скажу ему всего несколько слов.

Да Понте проворчал что-то не слишком любезное и уселся в кресле, стоявшем в углу комнаты, у фортепьяно. Однако он был готов встать и поклониться, если гость будет стоять того.

Да Понте искренне любил Моцарта и заботился о его интересах. Он огорчался, когда композитор по великой доброте своего сердца раздавал деньги и растрачивал свое время на кого попало и как попало — на любого, кто к нему ни обратится.

Потому были так неприветливы его черные глаза, обращенные к семнадцатилетнему юноше, когда тот несмело вошел в комнату и неловко поклонился. Он больше смахивает на римского легионера, чем на пианиста, думал да Понте, разглядывая невысокую кряжистую фигуру посетителя, между тем как композитор радушно расспрашивал, откуда и когда гость приехал и чем до сей поры занимался.

Каждый художник должен обладать нежной душой, а этот — сущий пень, с досадой отметил про себя итальянец. Моцарт — и он! Как они не схожи! Один — красивый, чуткий, с изящными манерами и изысканной речью; другой — непривлекательный, угловатый, говорит громко, с заметным северогерманским акцентом.

Платье у него новос, но провинциального покроя и из дешевой ткани, и, значит, никакой он не князь и не граф.

Как смешно этот увалень сидит на самом кончике стула и отвечает на вопросы робко и слишком громко...

Да Понте весьма проникателем. Он поднялся и подошел к Бетховену:

— Молодой человек, признайтесь! Прежде чем позвонить в дверь дома маэстро, вы ходили поблизости по крайней мере четверть часа?

На лице Людвига отразилось удивление, и сразу же в нем заговорила оскорбленная гордость. Этот человек смеется над его бедностью? Но тут вмешался Моцарт:

— Позвольте представить вам моего друга да Понте, — произнес он с обезоруживающей учтивостью. — Он написал либретто для моей оперы «Свадьба Фигаро», а теперь мы работаем над «Дон-Жуаном».

Людвиг поклонился, и да Понте пожал ему руку.

— Не сердитесь на мое внезапное вмешательство. Своим вопросом я хотел достичь одного: чтобы вы осмелились наконец и сказали маэстро, чего вы, собственно, хотите от него. Его время ценится на вес золота!

Это звучало резко, но беззлобно, и Людвиг успокоился.

— Прежде всего я хотел бы попросить маэстро послушать мою игру. В Бонне говорят, что я кое-что умею.

Да Понте про себя с удовлетворением отметил, что в угрюмом широком лице все же есть кое-что приятное: выразительные глаза и располагающая улыбка.

— Но позвольте мне задать вам еще один вопрос, — сказал да Понте. — Я никогда не имел чести слышать о дворянском роде фон Бетховенов!

— Я тоже! — весело прервал его Людвиг.

Да Понте разразился смехом.

— Позвольте, а что же это значит? — Он взял со стола визитную карточку и указал пальцем на роковую приставку «ван».

— О, это ошибка, которую в Вене делает каждый. Словечко «ван» читают как «фон». Неожиданно для себя я стал здесь Людвигом из рода Бетховенов. Но я объяс-

ню вам. Мой дед приехал в Германию из Фламандии, а там, так же как в Голландии, издавна существовал обычай именовать людей по месту их жительства. Имя Рембрандт ван Рейн означает не то, что великий художник был знатного рода, а то, что он родился на берегу Рейна.

— А не могли бы вы любезно объяснить мне, — сказал да Понте, несколько обескураженный таким толкованием, — что в таком случае означает «ван Бетховен»?

— Пожалуйста! — согласился Людвиг. — Но вы, пожалуйста, будете смеяться. «Ван Бетховен» означает «со свекольного хутора». Но если бы я и в самом деле был знатного происхождения, даже если бы я был принцем крови, то и тогда бы я не считал себя более знатным, чем такой большой художник, каким является маэстро. Имя Моцарт значит для меня больше, чем Габсбург!

Композитор протестующе поднял руку.

— Моцарт больше, чем Габсбург! — насмешливо покачал головой да Понте. — В резиденции императора габсбургской династии небезопасно произносить такие речи, молодой человек! Похоже, что вы не со свекольного хутора, а от французских границ! Это из Парижа распространяются по Европе безбожные идеи, что у его милости короля и простого обывателя одинаковая кровь и такие же кости... Но сейчас меня интересует кое-что другое. Вы в самом деле так почитаете маэстро Моцарта? — По лицу итальянца пробежала лукавая усмешка.

— Я знаю каждую ноту его сочинений, которые мог достать. Курфюрст сам музыкант и заботится о том, чтобы в городе звучали лучшие новые сочинения.

Да Понте усмехнулся.

— Что касается музыкальных дарований нашего курфюрста, то позвольте рассказать одну историю. Когда он был еще принцем императорского двора, устроили они с братом, нынешним императором, домашний концерт. Пригласили Глюка. Нечего говорить, что тогда в Вене, исключая Гайдна, не было лучшего музыканта. Сочинение Глюка в этот раз исполняли так, что он разразился воз-

мущенной тирадой: «Я скорее согласен бежать две мили вместо почтовой лошади, нежели слушать такое дрянное исполнение своей оперы!» И ушел.

Эту венскую сплетню я рассказал вам в награду за вашу искренность, рассчитывая, что вы так же будете держать ее про себя, как мы никому не расскажем о вашем великолепном высказывании по поводу императора и композитора.

И еще, что касается вашего преклонения перед маэстро Моцартом. Если вы действительно относитесь к нему так, как говорите, будьте добры, поищите себе в Вене другого наставника! Он пишет сейчас новую оперу и должен закончить ее до осени. Сейчас мы как раз заняты тем, чтобы согласовать музыку и либретто. И поэтому ни маэстро, ни я не располагаем временем.

Людвигу показалось, что чья-то холодная рука стиснула его сердце. Годами он собирал грош за грошем, чтобы поехать в Вену, и вот его прогоняют от заветного порога!

И от Моцарта не укрылось огорчение его юного гостя.

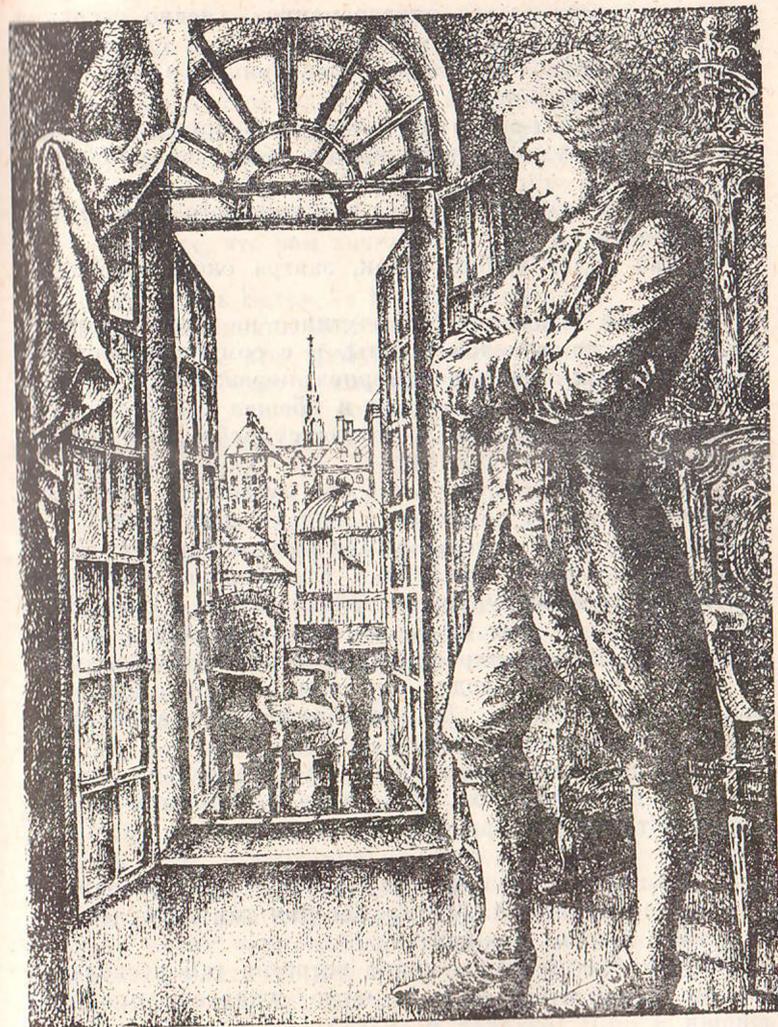
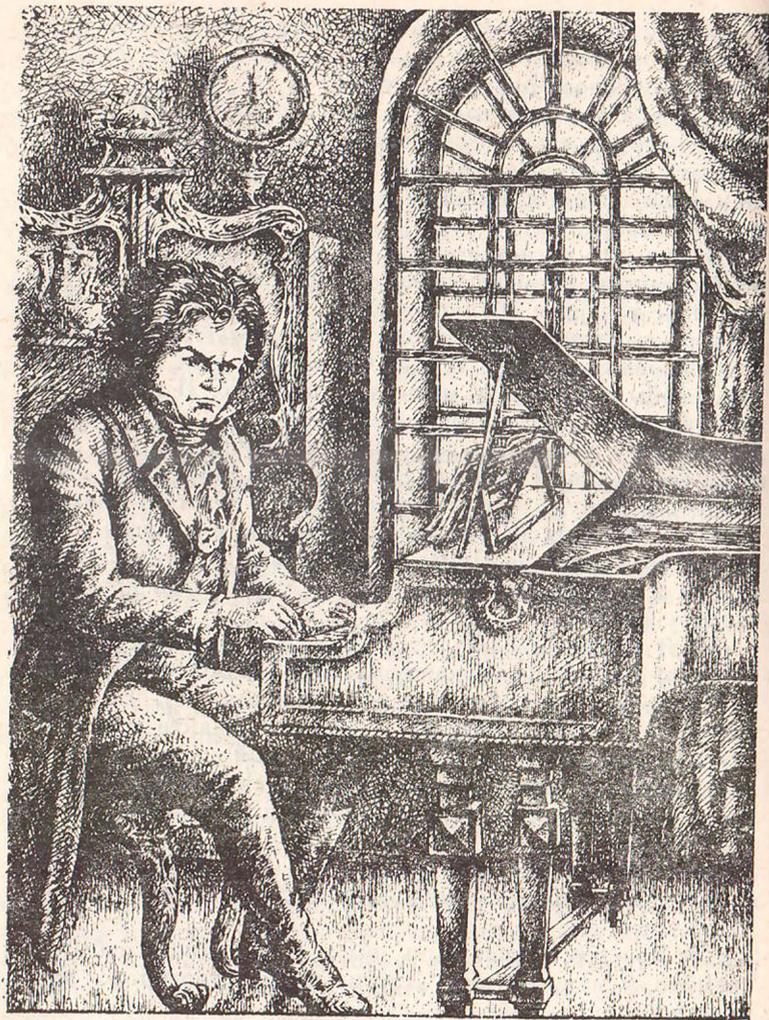
— Но, милый да Понте, вы говорите за меня, будто я сам не в состоянии объясниться, — укротил он красноречие друга.

— Я обязан сделать это! Вы же добры безгранично, маэстро! Вы обещаете каждому, кто ни попросит. Господин Бетховен еще слишком незрелый пианист, чтобы помышлять о таком наставнике, как вы! Знайте же, юный друг: господин Моцарт — величайший композитор из всех, которые были, есть и будут на свете! Вена же кишит учителями игры на фортепьяно, я порекомендую вам кого-нибудь.

— Остановитесь же наконец! — воскликнул Моцарт. — Я хотя бы послушаю господина Бетховена. Сыграйте мне!

— Маэстро, может быть, вы и располагаете избытком времени, у меня его нет! Другие композиторы тоже ждут моей помощи!

И возмущенный поэт, в самом деле писавший тексты



для трех композиторов одновременно, гневно сверкнул глазами и потянулся за своей треугольной шляпой, лежавшей на рояле. Но Людвиг уже пришел в себя и почтительно промолвил:

— Я мог бы прийти когда-нибудь в другой раз, маэстро. — Его умоляющий взгляд был красноречивее слов.

Моцарт весело взглянул на возмущенного поэта и произнес:

— Так будет лучше! Итак, завтра около шести вечера!

Людвиг в мгновение ока очутился на улице. Перевел дух, как после тяжелой работы, и с сомнением спросил себя: победил он или потерпел поражение? Правда, великий Моцарт был любезен и обещал его послушать, но почему так падал на него этот сумасбродный итальянец?

Горько было на душе молодого музыканта. Он корил себя, что не умеет общаться с людьми. Насупится, да и говорит так, будто пудовые камни языком ворочает. К тому же вспыльчив и неуступчив. Еще хорошо, что не повздорил с этим болтуном, оскорбившим его, думал Людвиг. «Как видно, моя необузданность зародилась во мне тогда, когда меня запирали в темной комнате и заставляли играть, когда я водил смычком по струнам и скрипел зубами от злобы... Да кто обращал внимание на то, что творится в моей душе?»

Когда Людвиг подвел итог своим раздумьям, он решил, что дела его плохи. Как видно, с Моцартом и с Веной, в которой распоряжаются самоуверенные да Понте, кончено.

И все-таки на другой день он шел к дому Моцарта с воскресшей надеждой. Может, сегодня там не будет этого поэта с языком, как бритва...

Людвиг был озадачен, когда встретил там нескольких гостей. Композитор был заметно удивлен приходом юноши.

— Простите, ко мне с визитом, — сказал он. — Господа, извольте посидеть минутку в соседней комнате. — Последние слова относились к гостям, охотно подчинившимся. Выйдя, они, однако, не закрыли за собой двери. Моцарт извлек из-под рояля стул и пригласил: — Пожалуйста! Вы доставите мне большое удовольствие!

— Что мне сыграть? Я знаю кое-что из обычного концертного репертуара.

— Играйте, что вам хочется, — ответил Моцарт, улыбаясь.

«Буду играть Баха», — решил юноша.

Многие сочинения Иоганна Себастьяна Баха так трудны технически, что требуют высочайшего мастерства. Людвиг выбрал одно из сложнейших. Некоторое время он спокойно сидел, потом погладил пальцы, как бы прося, чтобы они не подвели его в этом трудном испытании.

Моцарт решил, что Людвиг ждет, когда ему дадут ноты.

— Минутку, я дам вам все, что у меня есть Баха.

— Спасибо, — ответил Людвиг, — я буду играть по памяти.

Собственное уверенное заявление прибавило ему решимости. Он опустил руки на клавиши, и полились звуки безупречной чистоты. Долгие дни и ночи труда дали свои плоды.

Сочинение Баха прозвучало до конца без единой ошибки. Все уже давно было доведено до блеска и жило в кончиках пальцев. Когда отзвучали последние аккорды, Моцарт слегка кивнул головой:

— Вы действительно играете очень хорошо. Отличная техника! Это, несомненно, результат изрядного труда.

Но где-то в глубине души Моцарта закралось подозрение: «Этот молодец сыграл свой заученный урок!» Ох, сколько таких честолюбцев сидело за этим роялем, надеясь заворочить его исполнением одной вещи, вызубренной в поте лица! Мальчик с берегов Рейна играл настолько же безупречно, насколько и холодно! Чего ж ему не

хватает? Чего-то такого, чем отличается подлинный художник от усердного любителя. Нет собственной мысли! Полное растворение собственного «я» в идее композитора...

Людвиг бессильно опустил руки. Отзыв был похвальный, но сдержанный. «Это поражение, — думал он. — Тебе не удалось тронуть его сердце. Ты напрасно приезжал сюда».

Он взглянул на Моцарта. Композитор был молчалив и отрешен. На его лице застыло безразличное, учтивое выражение. То самое, которое бывает, когда провожают непрошеного гостя и только из вежливости ожидают в передней, пока тот наденет пальто и шляпу. Людвиг сознавал, чего от него ждут. Поблагодари за любезность и уйди! Но нельзя же отступить без малейшей попытки к спасению!

В глазах Людвигу отразилось горькое разочарование. Значит, вера в доброту Моцарта была ошибкой? Поездка в Вену была ошибкой? И самой большой ошибкой была уверенность добряка Нефе: «Ты сыграешь ему, и он поймет, чего ты стоишь!»

Он поклонился и направился к выходу. Но в тот момент, когда он взялся за дверную ручку, все в нем взбунтовалось. Как будто под напором глубоких вулканических сил прорвался поток отчаяния, а рядом очутилась знакомая сторбленная фигура Нефе, твердившего ему: «Сражайся, и в конце концов падет самая непреступная твердыня!»

Он обернулся. Губы его дрожали.

— Маэстро, умоляю вас, позвольте мне сыграть еще... фантазию на любую тему, какую вы мне дадите.

Моцарт удивленно смотрел на него. Этот угловатый крепыш, кажется, готов расплакаться!

— Какую-нибудь тему, отрывок из какого-нибудь сочинения, — просил юноша, одержимый последней надеждой.

— Ну хорошо. — Композитор отступил и пропустил его к роялю. Задумался: если есть смысл продолжать испытание, не дать ли настойчивому пианисту совсем незнакомую тему? Может быть, вот это? Моцарт стоя проиграл несколько тактов из «Дон-Жуана».

Людвиг сел и стремительно проиграл данную ему тему.

— Так? — спросил он.

Моцарт кивнул и продолжал:

— Мне показалось, когда вы играли, что мое присутствие мешало. Я выйду в соседнюю комнату, к друзьям. Все они очень сведущие музыканты.

Двери оставались открытыми, и Людвиг был теперь один, наедине с инструментом. С его помощью он еще в детстве умел выражать свои чувства лучше всего. Ему он вверял теперь свою судьбу.

Снова зазвучала мелодия из «Дон-Жуана». В то время от виртуоза требовалось умение на заданную мелодию сыграть вариации. Эти импровизации составляли обычную часть концертных программ. Юный Бетховен был уже хорошо известен в Бонне как исполнитель таких импровизаций. Но сейчас все прошлое бледнело в сравнении с задачей, стоявшей перед ним: обрести веру Моцарта в его дарование.

Музыкальные фразы под мягкими касаниями пальцев были причудливы, как гирлянды цветов, непохожих друг на друга. То будто птица пела о счастье, то вдруг завывала метель, потом кто-то радостно рассмеялся, и вот забили барабаны атаки, отозвалась героическая песня, а через мгновение ясно и безмятежно засвистела пастушья свирель... Боль и надежда, блаженство и мечта сияли, гасли, сплетаясь в чудесной импровизации, возникающей из нескольких моцартовских тактов!

Людвиг был так поглощен игрой, что не заметил, как вокруг все изменилось. Он не видел, как в дверях появилась хрупкая фигура композитора. Пораженный вдохно-

венными звуками, он подходил все ближе и ближе, а за ним выглядывали изумленные друзья.

Пять пар пытливых глаз были устремлены на взволнованное лицо Людвига. Откуда же взялась такая удивительная сила в этом юноше?

Он кончил, раскрасневшийся от безмерного напряжения, и, вздохнув полной грудью, поднялся со стула. Моцарт был уже рядом:

— Это было нечто другое, мой друг! Такой игры я давно не слышал. Благодарю вас!

Людвиг оглядывался в растерянности. За что Моцарт благодарит его? Вокруг уже звучал хор похвальных речей. Друзья композитора спешили поздравить с успехом молодого музыканта. Композитор положил на плечо Людвигу свою мягкую белую руку:

— Друзья, обратите внимание на этого юношу. Когда-нибудь он заставит мир говорить о себе!

Людвиг был счастлив. Все его существо наполнилось покоем и радостью. Он добился своей цели: Моцарт уже не отвергает его. Его старый учитель был прав. А повелевший маэстро еще раз потрепал его по плечу.

— Посидите с нами, — пригласил оп.

Красивая кареглазая жена Моцарта принесла кофе. Все сидели вокруг стола, и юный Бетховен с ними, как равный с равными, безмолвный и счастливый. Моцарт обещал заниматься с ним по мере возможности. Серьезные и регулярные занятия Моцарт, извинившись, откладывал до того времени, когда наконец закончит «Дон-Жуана». Он не хотел слышать о плате. Моцарт хорошо понимал, что боннскому музыканту с трудом достается каждый крейцер.

— Я буду заботиться о доне Людвиге, когда избавлюсь от донна Жуана, — говорил он. — Этот испанский авантюрист совершенно оседлал меня!

Это было поистине так. Когда ученик пришел в назначенное время, композитора не оказалось дома. Его срочно вызвали в театр. Прошла целая неделя, пока они нако-

пец увиделись. Моцарт просил извинить его и, как бы желая вознаградить Людвига, после занятий долго и откровенно беседовал с ним.

— Я недостаточно уделяю вам внимания, я знаю. Но время, время! Если бы еще можно было не растрачивать его попусту!

Людвиг покраснел.

— О нет! Я не имею в виду вас, прѣстите! Работать с вами было бы радостью для меня. Я говорю об уроках, которые даю в семьях знати. Это небольшое удовольствие, но что же делать?

— Я думал, маэстро... — Бетховен запнулся.

— Что я, занимаясь музыкой, разбогатею? Какое там! Деньги здесь платят не за труд, а за знатное происхождение. Больше всего их имеют те господа, которые дали себе единственный труд — родиться! Но прѣстите, я ропщу на знать и не знаю, что вы думаете о ней...

Мысленному взору Людвига представился Бонн. Он рассказал композитору о жалком положении музыкантов курфюрста.

— Такое мне знакомо, — кивнул головой Моцарт. — Я тоже еще мальчиком служил органистом архиепископа в Зальцбурге. Но мне думается, что ваш повелитель был сущим ангелом в сравнении с сатаной, у которого служил я. Вы, наверно, слышали о зальцбургском архиепископе Иерониме Колоредо. Он, конечно, из княжеского рода — разве может у нас стать архиепископом человек незнатного происхождения! Но лучше о нем не говорить.

Моцарт в самом деле замолк, и Людвиг не посмел докучать ему расспросами.

Когда юноша вернулся в свою скромную комнатку в предместье, он долго размышлял об увиденном и услышанном в этот день.

Значит, слава в самом деле приносит мало денег? Но если с таким трудом пробивает себе дорогу признанный миром Моцарт, то каково же будет ему, никому не изве-

стному, застенчивому, не имеющему друзей? И, в сущности говоря, разве это не бесстыдство, что он крадет время до крайности занятого композитора, как это было сегодня? Разве не следовало тебе, Людвиг, самому попросить отложить уроки на время? Но что же тогда делать? Возвратиться обратно в Бонн? Ведь и в самом деле он мог бы до будущей весны спокойно заниматься под руководством Нефе. Но эти поездки стоят уйму денег! И ничего другого не остается, как перебиваться кое-как уроками и как можно меньше времени отнимать у маэстро.

А Моцарт, как ни старался, с трудом выкраивал время для него. Зато, когда они наконец встречались, маэстро усиленно возмещал потерянное Людвигом время, разбирая сочинения юноши и дружески беседуя с ним.

Как-то в одной из бесед Моцарт вновь вернулся к своему старому хозяину, архиепископу зальцбургскому.

— Я пережил такое унижение, что не могу забыть до сих пор! — рассказывал Моцарт. — Тяжело говорить об этом, но вы музыкант и всю жизнь будете обращены со знанием, иначе не проживете. Знайте же, как обращаются князья с художниками! Чтобы вы поняли, как безмерна была подлость архиепископа, когда он уволил меня, я вам должен напомнить, что мне тогда было уже двадцать четыре года и я уже много концертировал как пианист-виртуоз. Я, разумеется, был с детства артистом архиепископской капеллы, как и отец. Поехать куда-либо с концертом я мог только с разрешения архиепископа, и обычно это стоило мне многих унижений. К тому времени я уже написал несколько опер, ну и, скажу без ложной скромности, мое имя в Европе было хорошо известно. Однажды, когда архиепископ по каким-то обстоятельствам отправился в Вену, то привез с собой нескольких музыкантов. Из гордыни взял меня с собой, чтобы всегда под рукой у него был собственный композитор! Меня помнили еще по моим детским выступлениям, и скоро я стал любимцем венцев. Немногим было известно, что тот, которому на концертах горячо рукоплескали

и кого осыпали цветами, был всего-навсего жалким рабом князя-архиепископа, и тому доставляю удовольствие унижить его.

У князя было множество способов тиранить меня. Перед каждым концертом я должен был умолять его о разрешении выступить. Я был его поданным, его слугой, и он никогда не обращался ко мне на «вы». За обедом я сидел за столом вместе со слугами. И в этом не было бы ничего дурного. Но во главе стола сидели два его любимых лакея!

Я надеялся, что в столице благодаря концертам приобрету друзей и это даст мне возможность уйти с княжеской службы. Я бы давно сделал это, если бы не боялся за отца. Когда архиепископ увидел, что моя популярность растет, он предписал мне возвратиться в Зальцбург. Я пытался уговорить его отменить свое решение... В конце концов поступил строгий приказ — выехать немедленно! Мне передал его с подобающей усмешкой архиепископский камердинер. Я никак не мог смириться. У меня в Вене было еще множество дел! Наконец я заставил себя пойти к архиепископу, чтобы попытаться убедить его. Тяжкое это было объяснение... Злоба его была безгранична — в этом я убедился сразу, едва только вошел. Он кричал как невменяемый, лицо его пожелтело, костлявыми пальцами бешено стучал по столу.

«Ничтожество», «хулиган», «чучело» — слова, которыми он встретил меня. Напрасно пытался я его успокоить. Он не давал мне вымолвить ни слова, укоряя меня в неблагодарности. Я уже думал, что он бросится на меня с кулаками. Наконец я решил кончить все это раз и навсегда.

«Ваше сиятельство, вы недовольны мною, в таком случае я буду просить, чтобы...» Я не успел договорить, что хочу быть уволенным со службы, как он в бешенстве закричал на меня:

«Что! Ты грозил мне? Ты, шут! Вон отсюда, с таким ничтожеством мне не о чем разговаривать!»

«Мне с вами тоже!» — сказал я, уже не владея собой.

«Воп, воп, негодяй!» — орал он на меня.

Я вышел. В дверях я обернулся и сказал ему:

«Завтра я подам письменное прошение об увольнении».

И действительно, на другой день я принес это прошение и небольшую сумму денег, выданную мне на обратный проезд. Меня принял граф Арко, надзиравший за дворцовой кухней. Он отказался взять мое прошение и деньги. Он, видите ли, не был уверен, в самом деле так сердит архиепископ или, может быть, сменит гнев на милость.

Итак, я ходил туда день за днем целый месяц, пока наконец Арко получил указание «послать этого бродягу к черту». Приказание было выполнено буквально. Он осыпал меня бранью, которую услышишь разве только в конюшне. Я бросил свое прошение на стол и вышел. Граф ринулся за мной. Он догнал меня на лестнице и неожиданно изо всех сил шнул меня ногой. Я упал и покатился с лестницы, ударившись головой о входную дверь. Не помню, как я очутился на улице, как добрал до дома...

Людвиг широко раскрыл глаза. Невозможно было поверить.

— Маэстро, это так вас — вас, композитора, виртуоза...

Моцарт горестно усмехнулся.

Юному музыканту было о чем призадуматься. И опять он укорял себя за то, что отнимает время у гениального человека, ведущего тяжелый бой с нелегкой своей судьбой. Не думал он тогда, что обстоятельства все равно скоро оторвут его от Моцарта.

А пока в нем крепки уважение и любовь к мужественному человеку, первому из музыкантов, кому удалось вырваться из члела придворных служителей и жить как независимый художник. Какое мужество надо иметь, чтобы отказаться от покровительства знати, хоть и гру-

бой, необразованной, но все-таки пет-пет да и дающей своим вассалам кусок хлеба.

Дома его ждало письмо, положившее конец всем сомнениям. На конверте он увидел почерк отца, неровный, тревожный. Предчувствуя недоброе, Людвиг разорвал конверт.

«Не знаю, следует ли мне звать тебя домой. Мама тяжело больна. Силы ее убывают, хотя мы делаем все, что возможно. Она кашляет кровью. И говорит только о тебе...» Так начиналось письмо. Удрученный Людвиг опустился на стул.

Мама! Мало любви он видел в детстве, по той, что выпала на его долю, одарила его мать. Пока он не обрел друзей в гостеприимном доме Брейвингов, она была единственной его утешительницей. А как необходима она была Каспару, Николаю и маленькой, недавно появившейся на свет Марии-Маргарите!

Что будет с детьми, если болезнь убьет ее? Людвиг неподвижно смотрел в одну точку. В самом ли деле опасность так велика? Неужели возвращаться домой? А может быть, подождать следующего письма, новых известий?

Они не заставили себя ждать. Через два дня отец написал: «Возвращайся! Мама еще надеется увидеться с тобой». Проплакав в своей одинокой каморке, Людвиг решил ехать как можно скорее.

На другое утро еще затемно он сел в почтовую карету, ехавшую вдоль Дуная. И двух месяцев он не пробыл в городе, о котором так долго мечтал! Надолго ли он покидает его? Может быть, навсегда? Людвиг не думал об этом. Все его помыслы устремились туда, вдаль, к ожидавшей его матери.

Людвиг сидел у рояля, но не играл. Вместо нот он пристроил на пюпитре толстый том «Одиссеи» и читал нараспев. Музыкальность песен Гомера ласкала его тон-

кий слух. Читал он по-гречески, хотя многих слов еще не знал.

Однако Людвиг упивался не только звучностью умершего языка. Следя за страстными Одиссея, он видел перед собой корабль, скользящий по водной глади с развернутыми парусами.

Если бы можно было унести на волнах от нужды и угнетения! Он закрыл глаза, мысленно рисуя тенистый остров, представший взору Одиссея. Вот бы оказаться в таком убежище!

Но не одному, а с девушкой, сияющие глаза которой были каштанового цвета, с девушкой, каждое слово которой звучит еще прекраснее, чем песни Гомера. С той, которая способна увлеченно говорить о стихах и слушать серьезную речь об идеалах человечества, а может быть по-детски резвой, когда молодежь надумает играть хотя бы в жмурки. Но кто знает, захочет ли она сесть с ним на этот корабль? Ведь Людвиг совсем не красив, где уж ему до Одиссея! Девятнадцатилетний юноша смугл и мрачен, к тому же сильно похудел после перенесенного тифа. Да если бы только это! Он никогда не любил зеркал, а теперь просто боится их. На лице его остались следы оспы, последовавшей сразу вслед за тифом. Постепенно они бледнеют, но все же останутся навсегда.

Нет, Людвиг Бетховен, оставь надежды! Твое сердце, быть может, самое чистое, самое пламенное, самое благородное, но кого это интересует, если у тебя такая внешность?

Людвиг склонил голову, и его пальцы машинально пробежали по клавишам. Песня звенела до тех пор, пока в дверь не постучали. Раньше всего в дверях появился острый нос Нефе, потом его энергичский подбородок и наконец вся голова, украшенная косичкой и бантом.

— Иду от соседей, — объяснил он Людвигу.

Людвиг радостно приветствовал учителя. Он немного испугался, что тот сумел понять кое-что из его исповеди, доверенной клавишам. Но у Нефе был такой вид, будто

он не слышал ни одного такта. Только заговорил он несколько поспешно:

— Пришел посмотреть, как твой фортепьянный концерт подвигается!

Недавно молодой композитор начал новое сочинение. Для него уже давно не составляло труда написать фортепьянную партию, но теперь он должен был для фортепьянного соло написать оркестровое сопровождение. Дело очень сложное!

Они начали разбирать концерт по частям, проигрывали его на скрипке и на рояле, горячо спорили, но вот часы на городской башне пробили полдень.

Нефе вздрогнул:

— Мне пора домой, мальчик!

Он собрал вещи, взял шляпу и свои ноты, все время поглядывая в окно. И вдруг задержался. Будто что-то заметил снаружи.

На лавочке, прислоненной к стене дровяного сарая, полусидя спал Иоганн Бетховен, с поднятой вверх головой и полуоткрытым ртом.

Нефе отошел от окна и остановился прямо напротив Людвига.

— Ты торчишь в Бонне потому, что боишься оставить семью на произвол пьяницы!

Людвиг в замешательстве молчал. Органист неумолимо продолжал:

— И из-за него ты оставил мысль о поездке в Вену, к Моцарту!

Людвиг сверкнул глазами:

— Нет, не оставил! Я поеду в Вену, как только смогу!

— Но ты не сможешь, пока будет так! — Нефе снова кивнул в сторону двора. — После обеда приходи к нам. Наившим просьбу.

— Нет, нет, — испугался Людвиг.

— Когда-то это должно произойти! Ты топчешься на месте, тебе только кажется, что ты идешь вперед. Ты что, решил навеки оставаться слугой его светлости? Я жду

гебя к пяти часам. А если не придешь, можешь навсегда забыть дорогу в мой дом!

Нефе надел шляпу и вышел не простившись.

В конце дня Людвиг сидел за столом в комнате Нефе и беспокойно вертел в руках перо. Перед ним лежал чистый лист бумаги. А маэстро шагал по комнате молча, разгневанный. Этот упрямец отказывался до последней минуты!

— Пиши, что я тебе буду диктовать, дома перепишешь начисто.

Он снова прошелся по комнате и начал решительно:

— «Его высокогородному Высочеству, наидостойнейшему архиепископу... Преданный придворный музыкант Вашего княжеского Высочества Людвиг ван Бетховен позволяет себе покорнейше просить...»

Перо скрипело. Пишущий вздыхал. Но когда дошел до просьбы дать указание, чтобы его отец, Иоганн Бетховен, помимо выплаты половины жалованья непосредственно семье, проживал отдельно, в окрестностях Бонна, Людвиг поставил перо в чернильницу и закрыл лицо руками:

— Маэстро, я не могу!

— А я могу, — твердо произнес Нефе, схватил перо и быстро вписал роковые строки. — Вечером все это перепишешь как можно красивее, а завтра передашь в канцелярию!..

Дома Людвиг опять пережил тяжелые мгновения, обдумывая все это с отцом. Он считал вестным так поступать. Прощение к курфюрсту не стал показывать, но рассказал о его содержании. Княжеский тенорист смотрел на сына непонимающе, как будто его мозг от непрерывного пьянства окончательно иссох.

— Нет, ты этого все-таки не сделаешь, — вяло протестовал он, но быстро смирился и, заикаясь, повторял: — Как знаешь, Людвиг, как знаешь! — Казалось, он был даже доволен, что половина жалованья будет полностью

в его распоряжении и он окончательно освободится от забот о семье, которыми и без того не утруждал себя.

Просьба была передана в княжескую канцелярию, по решению откладывалось.

Когда Людвиг сообщил Нефе о результатах разговора во дворце, тот испытующе взглянул на него: не кроется ли за этими словами чувство облегчения?

— Теперь хотя бы весной ты сможешь поехать в Вену? Как ты думаешь?

Людвиг слегка покраснел, на лице мелькнула улыбка.

— Может быть. Но прежде я хочу записаться в университет. Со своим нынешним образованием я не блистал бы среди венцев.

Взгляд горбатого органиста не был на этот раз таким же испытующим, но в нем все же виделась подозрительность. Не нагромождает ли все новые препятствия перед собой его упрямый ученик, чтобы оттянуть отъезд из родного города?

— Это неплохо, — сказал он, однако, снисходительно. — Музыкант должен иметь основательное общее образование. Иначе может случиться, что из него вырастет существо с чувствительными ушами, только и всего. Но чувствительными ушами и осел обладает. Меня только удивляет внезапность твоего решения. Как-никак университет в Бонне существует третий год!

И он бросил проницательный взгляд на смущенное лицо Людвига.

— Я не тороплюсь в Вену еще по одной причине, — ответил он учителю.

— Это тайна?

— Нет. Я боюсь, что меня постигнет судьба Моцарта.

— Судьба Моцарта? Но ей ты бы мог только завидовать! За исключением старого Гайдна, в Европе нет музыканта более прославленного.

— И, несмотря на это, он летел вниз головой с лестницы архиепископского дворца. Наш курфюрст далеко не

ангел, но он не позволяет себе и не позволит другим пинать ногами своих музыкантов!

— Ах вот оно что, — едко протянул Нефе. — Юноша хочет оставаться запеленатым в боннских пеленках, а свое будущее готов отдать за поглаживание по головке. Это верно, у нас людям не дают пинков. Зато у нас могут замуровать человека в канцелярских бумагах!

Людвиг опустил глаза, а негодующий капельмейстер язвительно спросил:

— Значит, о Вене ты уже не помышляешь?

— Конечно, помышляю. Я непременно поеду! Но мне кажется, что близятся перемены и скоро нам всем будет легче дышаться.

— Что означает — нам всем? — раздраженно спросил Нефе.

— Что-то огромное готовится во Франции и отзовется у нас. Всем это ясно, маэстро. Король запутался в долгах. Чтобы найти выход, созвал Национальное собрание. Но третье сословие отказывается и пальцем шевельнуть до тех пор, пока не будет провозглашено сословное равенство.

— Равенство между дворянином и простым человеком? — горько рассмеялся Нефе. — Ты, стало быть, решил дожидаться, пока поумнеют короли? В таком ожидании прошли тысячелетия! — Нефе махнул рукой.

— Вы, молодые, верите в возможность скорых перемен, в революцию. Но я наблюдаю мир на четверть века дольше, чем ты! Если и приходилось видеть какое-нибудь движение к лучшему, то чрезвычайно медленное. Но... как знаешь.

Нефе не смог предвидеть той бури, которая разыгралась во Франции через несколько недель и потрясла всю Европу.

По случайному стечению обстоятельств «камерный музыкант» Людвиг Бетховен находился в княжеском дворце, когда пришла первая весть из Франции.

В этот июльский день у курфюрста были гости. Под

вечер они прогуливались в саду, где их овеял свежий ветер с Рейна. Потом был ужин в зале.

Неподалеку от стола разместилось четверо музыкантов, одетых в соответствии с дворцовыми предписаниями. Людвиг, облаченный в ненавистный зеленый фрак, в завитом, как полагалось по приказу, парике, с мрачным лицом исполнял свою альтовую партию.

Он всегда чувствовал себя оскорбленным, когда должен был играть в то время, как господа под блеском сотен свечей, предаваясь чревоугодию, не очень-то слушали музыку.

Вдруг появился камердинер и почтительно подал князю на серебряном подносе письмо с большой сургучной печатью.

Письмо в разгар вечернего пиршества! Кто и почему осмелился оторвать курфюрста от любимого занятия?

За столом затихли, все не спускали глаз с архиепископа, молча читавшего послание.

...Господа остались одни. Необходимо было оценить поразительные новости, доставленные гонцом из Парижа. Однако музыкантам все стало известно, прежде чем они покинули дворец. В кухне они увидели измученного, с запавшими глазами гонца. Он жадно ел и пил, но, как истый француз, не скупился на слова. Поэтому, прежде чем его позвали к господам, обо всем были подробно осведомлены повара, камердинеры, лакеи и музыканты.

А известия были поразительные. Четырнадцатого июля парижский люд поднялся и бросился к арсеналам. Были взломаны склады, где хранились ружья, порох, ядра.

Король послал против них войска. Но они отказались стрелять и приветствовали восставших криками: «Да здравствует народ!»

Восставшие устремились в королевскую тюрьму Бастилию. Они ворвались туда, перебив приверженцев короля. Коменданту тюрьмы маркизу де Лонаэ отрубили голову и вздели ее на копьё. Голова старшины парижских купцов тоже попала на острие пика.

— Ре-во-лю-ция, ре-во-лю-ция! — несся этой ночью по улицам Бонна суровый и могучий клич. Конечно, в столице курфюрста не отважились на сколько-нибудь решительное выступление, но восторг горожан и простого люда был явным.

Когда на другой день Людвиг пришел в университетскую аудиторию, он не узнал ее. Возбужденные голоса неслись к потолку из темного дерева. Молодежь группами горячо обсуждала последние новости. Потом появился молодой профессор Шнейдер, поэт и прославленный оратор, и прочитал полные огня стихи о революции, сочиненные этой ночью. Молодая аудитория отозвалась на них долго не смолкавшими криками восторга.

Не только боннские студенты, но вся молодая Европа с энтузиазмом произносила три пламенных слова, украсившие знамена Франции: Свобода, Равенство и Братство.

В последующие недели и месяцы доносились новости все более удивительные. Революция из Парижа шагнула в провинцию.

В городах изгонялись королевские чиновники, и их место занимали люди, избранные народом. Крестьяне нападали на замки и сжигали акты, закреплявшие барщину, подати, налоги.

Национальное собрание приняло закон о том, что вся власть принадлежит народу и все равны перед законом. А когда король вздумал противиться, парижане явились в Версальский дворец и потребовали, чтобы он безвыездно оставался в Париже под вооруженной охраной.

В Бонне стали появляться роскошно одетые чужеземцы — это были бежавшие из Парижа от справедливого возмездия аристократы с детьми и прислугой.

По прошествии года Париж отмечал первую годовщину взятия Бастилии — на вид вполне миролюбиво. На гигантском Марсовом поле двумястами священниками был отслужен благодарственный молебен, после чего

все — народ, войска и король с королевой — принесли присягу верности новой конституции.

Тем, кто наблюдал за всеми этими событиями из-за Рейна, могло показаться, что раздоры окончены и свобода воцарилась навечно.

Нефе возобновил свои атаки на молодого Бетховена, как всегда, с некоторой долей добродушной насмешки:

— Счастливец ты, мальчик! Твои три желания исполнились, как в сказке. Французы по твоему высочайшему приказу совершили революцию, и теперь никакая графская нога не осмелится пнуть музыканта в спину даже в Вене. И с отцом все теперь как будто уладилось. Ты, правда, приказ князя не выполнил, и папаша дома пребывает. Ну, это твое дело. Что касается третьего твоего желания — пополнить образование в университете, то, вероятно, это удалось тебе как нельзя лучше, потому что в этом году ты даже не записался на философский факультет. — На лице капельмейстера мелькнула улыбка, но Людвиг нахмурился:

— Маэстро, вы напрасно упрекаете меня. Минуты свободной нет! Не так просто заниматься сочинением, упражняться, играть в концертах да еще быть отцом для двоих братьев и для собственного отца... Не записался на факультет потому, что все равно не смог бы посещать лекции. Но я читаю, учусь дома, а Элеонора Брейнинг помогает мне в изучении немецкой литературы.

— Ну, не обижайся, — успокоил его Нефе. — Я и раньше понимал, что для учения в университете у тебя времени доставать не будет. Но все твои другие желания, однако, исполнились. Так когда же ты все-таки поедешь в Вену?

Нефе задал этот вопрос внезапно, и Людвиг не успел обдумать ответ. Тогда он выпалил неожиданно для себя:

— Но есть еще одна важная причина!

— Гм, гм, — кивнул головой Нефе, — что же это за причина?

Людвиг молчал, покрасневший и взволнованный. Маэ-

стро прищурил свои лукавые глаза и как ни в чем не бывало спросил:

— Покази-ка мне, как ты исправил партию фагота в своем концерте. — И больше уже ни о чем не спрашивал.

Зато через несколько дней Елена Брейнинг спросила свою семнадцатилетнюю дочь:

— Тебе не кажется, что твои занятия немецкой литературой отнимают у Людвига слишком много времени?

Дочь пытливо взглянула в лицо матери своими удивительными карими глазами, но сразу склонила голову, так что локоны ее высокой прически закрыли ей лицо.

— Я его долго не задерживаю. Он сам всегда говорит, что любит быть у нас, — ответила она смущенно, — и что эти часы проходят удивительно быстро, быстрее, чем другие...

— И ничего более он не говорил тебе?

— Я не понимаю, что ты имеешь в виду, мама.

— Ну, не говорил, например, что он любит тебя?

— Этого он не говорил.

— Впрочем, это бывает видно и без слов. А что же ты? Любишь его?

— Ну конечно. Очень люблю.

— А Франца Веглера?

— Его я тоже люблю.

— Ничего не понимаю! — Всплеснула руками госпожа Брейнинг. — Не могла бы ты мне объяснить толком, как это тебе удастся любить их обоих и одинакова ли эта любовь?

Дочь некоторое время тихо поворачивала колечко на белом пальчике. Потом произнесла с легкой, немного грустной улыбкой:

— Я бы тоже хотела, чтобы кто-нибудь объяснил мне это.

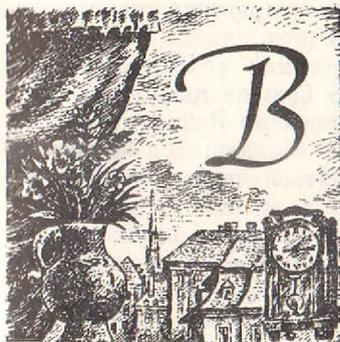
Теперь Людвиг редко бывал в доме Брейнингов. Он погрузился в работу, а на укоры отвечал, что у него со-

все нет времени. Зато он стал чаще поговаривать о Вене и о Моцарте.

По дороге в Лондон в Бонне ненадолго задержался маститый композитор Гайдн. Он прослушал некоторые сочинения Людвига и похвалил их.

А Нефе опять твердил о Вене:

— Сейчас для тебя в Вене есть уже двое пастафников. И лучше их в мире нет!



начале ноября 1792 года рейнский город Кобленц являл собой удивительное зрелище. С левого берега на правый через реку переваливало войско князя гессенского. А ведь совсем недавно эти же полки так же успешно передвигались с правого берега Рейна на левый. Тогда они вместе с пруссаками двигались против революционной Франции, теперь они стремились обратно.

Что же произошло за такой короткий срок?

Французы, узнав, что хозяев нет дома, отправили на Рейн несколько революционных полков. Без труда обошли они Майнц и двинулись в глубь немецких земель. Вскоре пал и Франкфурт-на-Майне.

Таким образом, революционные войска спокойно шествовали по гессенской земле, в тылу у княжеского войска. Нужно было остановить их.

...Мост через водную преграду был до предела забит. Он покоился не на быках, а на широких плотах, которые под тяжестью запрудивших мост войск и орудий погрузились в воду почти до краев.

Немецкие офицеры не обращали на это внимания. На-

до спешить. Революция заразительна. Что, если за французами последует собственная беднота?

Мост скрипел, вздрагивал и вздыхал под копытами коней и под сапогами пехотинцев. Но на другой берег жаждали переправиться не только войска.

— Черт возьми, что же, мы так и будем торчать здесь до скончания века?! — бранился черноглазый и черноволосый юноша. Он выбрался из почтовой кареты, безнадежно увязшей перед мостом в потоке войск, и нервно вглядывался в забитую дорогу.

Коренастый кучер ежедневно перевозил не меньше двух десятков путешественников.

Сейчас вместе с каретой застряли только двое. Оба были молоды, каждому немного больше двадцати лет, и путешествовали они из Бонна вверх по Рейну. Левый берег реки был безнадежен из-за создавшихся пробок, и оставалась возможность перебраться на правый берег здесь, в Кобленце.

— А нет ли другого моста? — спросил один из путешественников почтальона, сидевшего высоко на козлах.

— Откуда бы он взялся? — осклабился усатый и краснолицый возница. — Разве только если бы мы доехали до Майнца. Да там уже сидит француз!

— Ну, это нас бы не испугало, — сказал черноволосый.

Кучер пожал плечами:

— Почта уже туда не ездит.

Все трое мрачно всматривались в происходящее на мосту. Казалось, потоку военных не будет конца. Едва умолк топот драгунской конницы, как через реку хлынула пехота, и сразу же за ней поплыли орудия, каждое из которых тащила шестерка коней. А у моста уже сгрудились новые толпы солдат, над головами которых покачивались провпантские фуры, легкие маркитантские повозки теснили мычащий скот — эти передвижные склады мяса.

Смуглый юноша мрачнел все больше.

— Этак мы до Вены доберемся разве только через

месяц, а вы до Нюрнберга, может быть, дней за четырнадцать, — сказал он своему спутнику.

В ответ тот безнадежно пожал плечами. Тогда черноволосый путешественник обратился к вознице:

— А что, если нам дождаться, когда в потоке войск окажется разрыв, и втиснуться в него?

Почтальон хитро улыбнулся:

— Так я уже об этом думал. Но затесаться в войско — игра небезопасная. Могут и палки по спине прогуляться.

— Ну, надеюсь, ваши кони окажутся проворнее, чем палка какого-нибудь капрала. А на такой случай лекарство будет выдано вперед: талер получите, если сумеете проскочить.

— И от меня талер, — добавил спутник.

— Господа с княжеского двора в Бонне? — спросил возница.

— Я придворный музыкант Бетховен, — сказал черноволосый путешественник.

Его спутник хранил молчание. Он не имел отношения к княжескому двору. Юлиус Фуке был сыном торговца, который счел за лучшее переправить часть своих капиталов из небезопасных рейнских краев в более спокойный Нюрнберг.

— Ну так и быть, — произнес возница. — Садитесь, господа, в карету. Попытаем счастья! — Он легонько стегнул коня и начал осторожно продвигаться к мосту.

— Дорогу послу курфюрста боннского! Дорогу послу курфюрста боннского! — громко выкрикивал он.

Со всех сторон по их адресу неслись возмущенные крики и брань. Тем не менее высокое курфюрстово имя оказывало действие. Почтовая карета плыла над возками, как ковчег, и постепенно приближалась к мосту. Теперь оставалось только влиться в воинский поток и вместе с ним переправиться через реку.

Почтальон терпеливо выжидал удобного момента. Вот кончила проходить пехота, и двинулась артиллерия. Первое орудие несколько помедлило, так как кони рва-

нули одновременно, и в это мгновение на мост прорвалась почтовая карета.

— Эй, что это значит? Стой! Стой! — кричал взбешенный капрал.

Он замахнулся палкой, составлявшей его снаряжение, как и сабля, и бросился за почтовой каретой. Но было поздно! Она уже попала в лавину, движущуюся по мосту, кони фыркали в спины впереди идущих пехотинцев, а почтальон только посмеивался.

Переехать мост было только частью трудной задачи. Предстояло еще пробиться сквозь нестрое море разношерстных войсковых частей, выстраивавшихся на другой стороне реки. Но хитрый возница и там не растерялся. Опять покрикивая, что везет послов курфюрста боннского, он лавировал в беспорядочной мешанине людей и военного снаряжения. По мере удаления кареты от берега толпы войск редели, и наконец впереди показалась свободная дорога.

Кучер на мгновение остановился, чтобы дать передохнуть коням. Он открыл дверцу кареты и сказал:

— Ну, господа, из пекла мы выскочили! С вашего позволения, в честь благополучной переправы я выкурю трубку. — Он зажег ее, пыхнул и, выпустив первый клуб дыма, сказал: — Желаю вам счастливого путешествия. А мне, господа хорошие, придется вернуться. Жаль! Как у вас пойдут дела дальше, трудно сказать. Что, если на французов наткнетесь? Говорят, что их гусарские разьезды прорываются далеко. Держитесь подальше от Франкфурта, чтобы не затесаться в какое-нибудь сражение! Всею свое время — и храбрости и осторожности. По нынешним временам я бы придерживался последнего! — Он почесал затылок, запер дверцу и взгромоздился на козлы.

Его опасения не были безосновательными. Ведь почтовые станции были перекрестками путей и средоточием последних новостей. Почтальоны лучше, чем кто-либо,

чувствовали, что прирейнская земля вот-вот станет полем битвы.

Уже в августе 1791 года бежавшие французские генералы, маркизы и графы замыслили войну против своей родины. В Пильнице, около Дрездена, они вместе с прусским королем и австрийским императором подписали манифест об общих действиях против революционных сил. Мир реакции поднимался против мира свободы.

Их разделял Рейн.

Война началась в конце апреля 1792 года. Силы были неравны. Революционная Франция могла выставить против интервентов только необученные войска паскоро собранных волонтеров. Врагам помогала и внутренняя измена. Сама королева передала военные планы врагам революционной Франции.

Неудивительно, что война началась поражением французов. Но эти поражения не деморализовали революционный Париж. Новые полки волонтеров возникали не по дням, а по часам.

Двадцатого сентября 1792 года у деревни Вальми произошла битва, похорошившая все прусско-австрийские планы.

Революционные войска, плохо одетые и обутое, слабо вооруженные, решительно отразили натиск интервентов.

Битва у Вальми известна в истории как одна из самых малых по масштабам и самых решающих. Нападавшие потеряли, может быть, не больше сотни своих солдат, но лишились куда более важного: они утратили решимость.

Французская армия перешла в наступление по среднему течению Рейна. Она вторглась в Бельгию, принадлежавшую тогда австрийской монархии. Под угрозой вторжения оказался и Бонн. Тридцатого октября бежал из своей резиденции курфюрст Максимилиан Франц. Того и гляди, над Бонном мог взвиться трехцветный флаг Французской республики.

Так складывался ход войны, когда второго поября ран-

ним утром Людвиг ван Бетховен пустился в свое второе путешествие в Вену.

Как только Людвиг со своим попутчиком перебрались у Кобленца на правый берег Рейна, им пришлось изменить свой маршрут и направиться на восток. Надо было удалиться от мест, где со дня на день ожидалась бой. Почтовые кареты пока регулярно ездили по этой холмистой местности вдоль реки Лан. Однако путешественников было мало: многие боялись оказаться в гуще боя.

Так и случилось, что в один из дней почтальон вез в своей почтовой карете только двоих седоков. На козлах сидел широкоплечий паренёк с загорелым лицом. Он был не лишен отваги и юмора. Утром, усаживая путешественников в карету, он вдруг рассмеялся и сказал:

— Господа, садитесь в карету вы в Германии, да кто знает, не придется ли выходить из нее во Франции. Поговаривают, что голубые мундиры уже далеко продвинулись из Франкфурта.

Не дожидаясь ответа, он запер дверцы.

Молодые путешественники, однако, не проявили признаков боязни. Кучер тоже оставался спокойным, и, как только лошади тронулись, окрестности огласила его мирная песня.

После первой остановки к нему на козлы присел Людвиг.

— Вы не боитесь, друг, что своей музыкой привлечете неприятеля? — весело спросил он кучера.

Тот подмигнул с хитроватым видом:

— Кому он неприятель-то?

— Вам лучше знать, — ответил Людвиг.

— Я сын бедного крестьянина, — прозвучал несколько неожиданный ответ.

— Поэтому вы не можете отличить своего от неприятеля?

— Часть нашей деревни молится за курфюрста, нашего господина, но большинство просят небо, чтобы пришли французы и избавили нас от барщины и податей.

— А вы относитесь к первым или вторым?

Ответа пришлось некоторое время подождать. Молодой почтальон пытался разгадать своего соседа. Выглядит, как обычный горожанин, а они почти все на стороне революции, но ведь в душу человеку не влезешь! А вдруг он преданный господский служака? Почтальон сказал уверенно:

— Да ведь я уже сказал, что сам я из бедной семьи.

— Ага, — догадался Людвиг. — Ну, если так, то попробую и я затрубить. Французы не помешают ни вам, ни мне. Одолжите мне ваш замечательный инструмент!

Почтальон оглянулся вокруг:

— Ну, до деревни далеко, осрамиться вам будет не перед кем. Играть на почтовом рожке не каждый может.

Людвиг усмехнулся, вытер мундштук рукавом и приложил его к губам. От смеха у кучера лицо покрылось морщинами. Они молниеносно исчезли, как только знакомая мелодия зазвучала ясно, чисто и с такой силой, что разнеслась далеко по окрестным полям и холмам, покрытым виноградниками.

— О-го-го, — отозвался кучер. — Я еще не слыхивал, чтобы так умели играть на рожке. Вы что, музыкант?

— Так, немного. Только простите, рожок не мой инструмент, уж поверьте! Но попробуем другую песню!

По широкой долине разлилась приятная мелодия народной песни. По-видимому, она пришлась по вкусу единственному седоку. Он высунул голову из окошка кареты и спросил:

— Концерт бесплатный, господин Бетховен?

— Бесплатный!

— Уделите мне местечко на козлах!

Карета остановилась, и все трое взгромоздились над лошадиными хвостами — молодые, веселые, смеющиеся. Карета ехала пустой, Людвиг трубил, почтальон правил лошадьми, торговец слушал, оглядывая окрестности.

— Странно, что на полях так мало народа, — сказал он, когда они проехали немного.

— Что бы они там делали в ноябре? — оторвавшись от рожка, сказал Людвиг.

— Но ведь и виноградники пусты! — возразил торговец.

И в самом деле, вокруг, насколько хватал взгляд — а день был ясный, тихий и прогретый мягким солнцем, — не было ни души, как выметено.

И все-таки молодой, острый глаз подметил какое-то движение на тропках среди виноградников.

— Стойте! — воскликнул молодой Фукс испуганно. — Французы!

Три пары глаз внимательно вглядывались туда, где было движение.

— Вам показалось, — заключил Людвиг.

— Нет-нет! Я видел ясно лошадиные головы, голубые мундиры и военные головные уборы, которых у нас в армии не носят.

— А может быть, они нас испугались, — пошутил опять Бетховен. — Наверное, они разглядывают нас так же внимательно, как мы стараемся рассмотреть их. Похоже, что мы въезжаем в местность, занятую французами. Потому-то и на полях пусто.

— Узнаем в ближайшей деревне. Она недалеко, — сказал кучер.

Теперь они ехали медленно и уже без музыкального сопровождения, оглядываясь все время на таинственную дорогу, на которой скрылся французский дозор.

Вскоре среди деревьев показалась башенка сельского костела, а потом забелел и первый дом. На дороге появились два солдата с ружьями, преградили путь карете, скрестив перед ней лытки. Их кивера были украшены трехцветными кокардами — цветами свободной Франции. Из дома вышел капрал, смуглый, сухопарый, с резкими чертами лица.

— Кто вы и откуда едете? — спросил он сердито.

Кучер молчал, немного испуганный. Оба путешествен-

ника охотно дали все объяснения и спросили, могут ли они ехать дальше.

— Мы не воюем с гражданским населением. Разве если бы вы были французскими аристократами и убежали с родины к врагу. Только, — засмеялся капрал дружелюбно, — тогда вы не говорили бы по-французски так коряво. В деревне стоят наши, но никто вас не тронет, поезжайте!

Людвиг опять забрался на козлы, однако его спутник направился к карете.

— Надо деньги спрятать, — шептал он испуганно. — Спрячу под обивку. Боюсь, как бы французы не ограбили.

— Непохожи они на грабителей, — пробормотал Людвиг.

— Каждый солдат одной частичкой мозга думает о войне, а другой о том, как бы пожить.

— Может быть, и так, что касается королевских и императорских наемников. Но мы встречаемся с армией народа.

Торговец взглянул на него с сожалением.

— Я бы добровольно не совал голову в пасть даже прирученному тигру. Впрочем, ваше богатство, эти ноты, которые вы держите в чемодане, никого не соблазнят. А я везу золото, оно должно храниться в верном месте.

— Ну, тогда прячьтесь в карету и стерегите свою кошину, а я хочу встретиться с французами лицом к лицу.

Людвиг ловко вскочил на козлы и напряженно вглядывался вперед. У него стучало в висках, будто встреча с людьми, которые впервые в истории отважились посадить в тюрьму своего короля, сулила свободу и ему.

Смелые призывы революции влекли его, как и каждого мыслящего человека в Европе. Тщетно правители накрепко запирали границы своих государств в Европе! Уже в 1790 году в Германию было строго запрещено ввозить и читать революционные брошюры из Парижа. Их читали, невзирая на запрещение. Тюрьма грозила каж-

дому, кто читал французские газеты. Несмотря на это, их тайно передавали из рук в руки.

Немецкие подданные не смели знать о законах, провозглашенных во Франции. Люди рождаются и остаются свободными и равными перед законом. Неприкосновенны права человека на свободу, безопасность и защиту от нападения! — провозглашала республика.

Как было не воспрянуть Бетховену духом!

Время прислуживания в курфюрстовом дворце осталось в памяти кошмарным сном. Он снял с себя фрак с золотым позументом — униформу придворного музыканта. Он вышел в мир, чтобы найти свободу. Теперь он встретился с теми, которые уже обрели ее.

Отряд французских солдат они увидели около магистрата. Солдаты в голубых мундирах с широкими ремнями, перекрещивающимися на груди, в киверах, сидели и лежали на низкой траве под старыми деревьями, вытянув усталые ноги, стянутые высокими гамашами с множеством луговиц. Ружья с прижатыми штыками, составленные в козлы, стояли вокруг.

Над лагерем развевалось трехцветное знамя. Легкий ветерок шевелил шелковое полотнище, временами то смешивая цвета алый, белый и голубой в пеструю волну, то открывая золотом вышитые слова: Свобода, Равенство, Братство.

Когда карета остановилась, Людвиг соскочил на землю, охваченный любопытством. Торговец тоже выскользнул из кареты.

Молодой офицер со шпагой на боку, отделившись от группы солдат, подошел к ним и спросил, чего они желают.

— Благодарим вас. Мы рады увидеть войска, сражающиеся за свободу своего народа.

— Не только за свободу своего народа, но и за свободу других народов, — добавил офицер. — Нужно, чтобы вы, немцы, знали, что республика посылает нас не как

захватчиков, а как освободителей, мы хотим вам помочь подняться против собственных тиранов.

— Понимаю, — ответил Людвиг, в то время как владенец золота предусмотрительно помалкивал. — Вы счастливый народ. Я с радостью бы встал в ваши ряды. Но я не воин. Единственное мое оружие — музыка.

— Если мы будем наступать так же быстро, как теперь, то очень скоро окажемся в Вене, — говорил офицер, явно гордясь успехами французского оружия. — Увижу Глюка, Моцарта, Гайдна!

Он был, как видно, любителем искусства.

— Глюка нет в живых уже пять лет, а Моцарт умер около года назад. Ему не было еще и тридцати шести лет.

Беседа становилась все оживленнее. Некоторые солдаты с любопытством обступили их и расспрашивали о Вене. Ведь из этого города была родом ненавистная им королева и до него оставалось рукой подать. На вопросы отвечал один Людвиг. Его спутник в беспокойстве и нетерпении подвигался к карете.

Вдруг издали донеслось пение. Наверное, подходил новый отряд, он пока не был виден в густых ветвях. Только трехцветное знамя проглядывало из-за листьев.

Все смотрели в сторону приближающегося войска. Людвиг напряг слух. Ему еще не приходилось слышать эту песню. В ней словно слышался гул барабанов и голос трубы звал в атаку. Мелодия захватила и тех, что отдыхали. Солдаты вскакивали, приветствовали подходящих товарищей, подпевали им.

Людвиг достал записную книжку и стал быстро записывать мотив.

— Вы разбираетесь в этих каракулях? — спросил его офицер, заглядывая через плечо. Рука Людвиганосила на бумагу линейки, точки, тире, смесь значков, которые казались непонятными. — Это «Марсельеза»! — продолжал офицер. — Новинка. Но ее уже поет весь Париж, а скоро, может быть, запоет и весь мир.

Музыкант молчал, но восторженный взгляд его скользил по солдатской колонне, и он продолжал писать.

Отряды промаршировали своей дорогой, но еще доносился новый куплет этой песни — бодрой, стремительной, полной надежды.

— «Марсельеза», — бормотал Людвиг, когда песня стихла вдали. — Почему же все-таки «Марсельеза»?

Француз поспешил объяснить ему, что песню принес в Париж батальон из шестисот марсельских добровольцев.

— Вы не могли бы сказать мне ее слова? — попросил Людвиг, продолжая вглядываться сквозь густые ветви в удаляющихся солдат.

Офицер, улыбаясь, любовался восторгом музыканта.

— Вы не первый, господин музыкант, кого эта песня чарует. Запишите ее текст. — И он начал диктовать:

Вперед, сыны отчизны милой!  
Мгновенье славы настает.  
К нам тирания черной силой  
С кровавым знаменем идет.

.....

Вперед, плечом к плечу шагая!  
Священна к родине любовь.  
Вперед, свобода дорогая,  
Одушевляй нас вновь и вновь.  
Мы за тобой проходим следом,  
Знамена славные неся.  
Узнает нас Европа вся  
По нашим завтрашним победам! \*

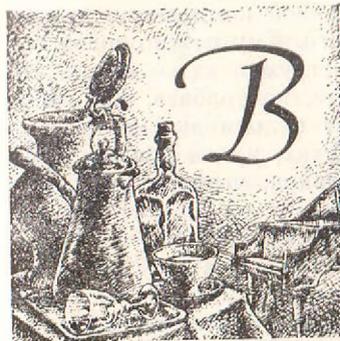
— Это не песня, это сама революция, воплощенная в звуках! — взволнованно воскликнул Людвиг, когда были произнесены последние строфы песни.

Ему уже не хотелось больше разговаривать. Мысли перенеслись в мир музыки, в душе звучал пламенный на-

пев, слагались его вариации. Ее отзвуки будут слышны в его будущих сочинениях.

Он простился с молодым французом искренне и сердечно, но мысли были уже поглощены чем-то другим. Он даже не слышал выговора боннского торговца, которым тот встретил Людвиг, когда он ушел в карету.

— Вы здесь торчали целую вечность, а я сидел как на раскаленных углях! Из садов смотрят крестьяне. Кто-нибудь донесет, что мы братаемся с врагом. А если вы думаете, что будете распевать эту глупую песню в Вене, то заранее рассчитывайте на тюремные бары, если не на виселицу! Император сидит на троне достаточно прочно, а вы просто сумасшедший!..



маленькой комнате мапсарды был лютый холод. Людвиг спял ее потому, что ему подходила плата. Пытаясь согреться, он лежал в постели, задумчиво уставившись в скопелный потолок.

Дом был наполнен людьми и шумом. Кто-то топал ногами на лестнице и возбужденно кричал по-итальянски. За стеной звучала венгерская песня. С улицы

доносились громкие голоса двух женщин, говоривших на незнакомом славянском языке. Какое-то ребятишки, бегая наперегонки, окликали друг друга на ломаном немецком.

Вена! Столица империи, населенной разными народами.

Его слегка познабливало. Никогда Людвиг не страдал от недостатка храбрости, но город с населением в четверть миллиона подавлял его.

\* Перевод П. Антокольского.

Он приехал, чтобы завоевать столицу своим искусством. И не сомневался нисколько, что сумеет сделать это. Но с чего следует начинать?

В деревянном чемодане, обитом железными обручами и обтянутом матерчатым чехлом, хранилась пачка писем к князю Эстергази, графу Кинскому, князьям Лихновскому, Лобковцам. Пусть остаются там как можно дольше.

Он не шел в их дворцы, пока можно было. Не хотелось, сбросив зеленую лакейскую форму, облачаться в красную или голубую.

Но может ли честный музыкант просуществовать, не прибегая к покровительству князей?

Давать уроки? Но ему самому надо еще совершенствовать свое мастерство. Он хотел бы учиться композиции у Гайдна, мастерству вокальной композиции у кого-то другого, он еще не знал у кого. Ему нужно совершенствоваться в игре на разных инструментах — на английском рожке, на флейте, кларнете, контрабасе. Труд композитора нелегко. Он не может с одинаковым мастерством играть на всех инструментах, но он должен хорошо знать возможности гобоя, рожка, челесты — любого инструмента в составе оркестра.

Значит, ему придется работать за четверых!

Было бы нелишне записаться еще на курсы танцев, хороших манер, заняться верховой ездой, овладеть искусством фехтования. Он не позволит, чтобы кто-нибудь из господ, в жилах которых течет голубая кровь, превосходил в чем-нибудь его, художника! Да, но тогда уж не будет оставаться ни минуты свободного времени и не будет лишнего гроша!

Так с кого же начать сегодня? С кого? С главы венских музыкантов — старого Мастера Иосифа Гайдна! Да, конечно.

Людвиг вскочил с постели. Полеживая на боку, человек ничего не добьется. Вон из дома, на улицу! У Гайдна надо будет узнать кое-что о венской жизни.

Например, где можно взять напрокат рояль? И сколько это будет стоить?

Он начал поспешно одеваться. Быстро сбежал по ступеням, стертым за долгие десятилетия.

Во дворе он остановился. В просторной мастерской, почти упавшей в землю, раздавался скрип какой-то машины. Худощавый человек, налегая всем телом на длинную ручку, приводил ее в движение. Второй рабочий вылаживал в машину белые листы бумаги и поворотом ручки возвращал их обратно уже покрытыми черными буквами.

Это была типография! Таинственное место, где рождаются на свет труды мудрецов и бездарных писак, откуда распространяются светлые идеи и глупость людская.

Людвиг сочувственно смотрел на рабочих сквозь грязное окончатое стекло. Они начали работать еще на рассвете и кончат, когда стемнеет.

Людвиг, вздохнув, пересек маленький дворик и зашагал по улице, продуваемой резким осенним ветерком. Достав из кармана записку с адресом композитора, он справлялся у прохожих, как ему пройти к нужной улице.

Но, услышав, что на башне ближайшей церкви часы пробили девять раз, Людвиг остановился. Правила хорошего тона, усвоенные им в боннской школе воспитания, которой был для него дом Брейшигов, гласили, что в столь ранний час визиты не положены. И в голове возникла мысль: не Гайдна, а первого своего учителя ты должен навестить в Вене прежде всего! Ему-то ранний визит не будет помехой. Он уже там, где земное время не значит ничего...

И Бетховен направился на кладбище святого Марка. Слова он спрашивал прохожих и по их указанию шел длинной прямой улицей к городским воротам. Он прошел через них и сразу очутился за городом, оставив позади крепостной вал, обозначивший границу города.

Картина, открывшаяся перед ним, была печальна.

На широкой равнине не было ни единого домика. Она была мокрой и унылой. Вдоль дороги, покрытой лужами, торчали скелеты деревьев, листва на которых была уже оборвана ветром.

Он двинулся дальше, и вскоре в тумане возникла кладбищенская стена. Людвиг прибавил шаг. Наконец он увидел ржавые ворота, их левая половина висела на одной петле. Длинные ряды крестов выступали из мглы.

С грустью он оглядывался вокруг. Как найти место, где почил сердце Моцарта?

Людвиг бродил по кладбищу, пока не разглядел холмик свежей земли, на который откуда-то сверху падали комья глины.

Он подошел к краю новой могилы, в глубине которой стоял могильщик. Старик оперся о лопату и удивленно воззрился на нежданного посетителя:

— Кого вы ищете?

— Моцарта. Сочинителя музыки.

— Музыканта? А у него есть здесь могила?

— Ведь это кладбище святого Марка?

— Да. Но уж я-то знаю на память всех лучших покойников. А вот Моцарта не знаю!

— Он был капельмейстер. Его опера «Волшебная флейта» идет в Вене уже второй год. Он умер в прошлом году, в начале декабря.

Могильщик наморщил лоб.

— Ага! Это мог бы быть тот... Его уже трое искали... И все иностранцы! Страшно, почему это венцы не приходят? Вы, наверное, тоже из-за границы, правда?

— Я из Бонна. Музыкант.

— Так-так. Ну, этот похоронен здесь. Только вряд ли найдешь.

— Но ведь есть же надгробие?

— А кто его поставил? Ха! Да и где бы его поставили-то?

— Вы же говорите, что знаете все могилы!

— Я так не говорил, господин музыкант! Я говорил,

что знаю все хорошие могилы! А этого капельмейстера мы похоронили в общей. В них, видите ли, закапывают тех, у кого нечем платить за место. А уж кого этак хоронят, я про имя не спрашиваю. У таких часто и имени-то никакого не бывает.

Бетховен смотрел на могильщика потрясенный.

— Но ведь... это был человек, известный всей Европе!

— А так бывает, что человека, когда помрет, начинают почитать... Да что теперь поделаешь-то! Что же мне, выдумать ее, могилу-то! Таких могил для нищих здесь сколько угодно.

Могильщик сердито нагнулся и начал снова копать. Сколько уже времени потерял он с этим бедно одетым иностранцем. От таких чаевых не дождешься. Музыкант! Когда-нибудь тоже закопают в общую могилу... Комья глины, вылетев сверху, обсыпали ботинки Людвигу.

Он попрощался с могильщиком и нетвердыми шагами побрел к выходу.

Его сознание отказывалось воспринимать ужасную правду. Он остановился у ворот, еще раз оглянулся, будто лес почерневших крестов и мраморных памятников мог прояснить тайну, навсегда скрытую для человечества: где нашел свое последнее пристанище величайший из композиторов?

Людвиг закусил губу, подавляя плач. В мыслях он снова был у молодого композитора, такого доброго к нему, невзрачному юнцу, приехавшему с берегов Рейна. Ах, как его окрылили тогда слова Моцарта: «Этот юноша однажды заставит мир говорить о себе!»

А не будет ли и мой конец таким же? В безымянной могиле, среди бродяг и нищих...

Кипучая жизнь императорской столицы не доходила до его сознания. Он не замечал офицеров в расшитых золотом мундирах, гарцующих на горячих венгерских конях. Не обращал внимания на пронесившиеся мимо застекленные кареты, украшенные позолотой.

Не взглянул он и на отряд гренадеров, громко печая

тавших шаг по булыжнику мостовой, — их головы украшали огромные медвежьи шапки.

Он не слышал даже нищих, которые взывали к богатым и знатым своей вечной мольбой: «Сжальтесь над несчастными!»

Мыслями Людвиг все еще был на кладбище. Он шел не оглядываясь, пока не достиг дома, адрес которого маститый композитор написал ему когда-то собственной рукой.

С волнением вступил Людвиг туда, где жил величайший из живущих немецких композиторов. Старый маэстро Гайди сидел в своем кабинете, обложенный нотами, и что-то исправлял в них. Ноты лежали на письменном столе, на стульях и даже на полу.

Быстрые темные глаза композитора вопросительно взглянули на посетителя, которого ввел в комнату старый слуга. И сразу же в них отразилось удовольствие: он узнал Бетховена.

— О, гость с Рейна! — сказал он, по-юношески живо поднимаясь от стола. — Давно ли вы приехали? А что же война? Не задержала вас в пути? Как идут дела у боннских музыкантов?

Бетховен, взволнованный сердечным приемом, низко поклонился и стал рассказывать о Бонне, о сбежавшем курфюрсте, о знаковых музыкантах так горячо, что хозяин никак не мог вставить хотя бы одно слово и пригласить гостя сесть.

Так они и стояли в кабинете, заполненном книгами и нотами, — стареющий маэстро и его новый ученик...

Один — невысокий, худощавый, темноволосый юноша, со следами перенесенной оспы на лице, другой — такой же невысокий, худощавый и черноглазый, в темном парике, с лицом, на котором тоже были видны следы оспы.

И все же в главном они были очень разными.

От всего облика Бетховена — от широкого лица с коротким носом и тяжелым подбородком, от энергичного

рта и ярких глаз веяло силой, взрывчатой и стремительной.

Вытянутое лицо Гайдна, на котором выделялся длинный, узкий нос с горбинкой, наводило на мысль, что человек этот умеет усердно трудиться, но не способен на решительные действия.

Встретились две стихии! Неукротимый водопад, бешено налетающий на препятствия, встретившиеся на пути, и широкая река, прокладывающая себе дорогу без шума и штормов.

Едва Людвиг уселся, как сразу же заговорил о Моцарте. Его сердце все еще было полно горечи от кладбищенских впечатлений.

— Произошло нечто странное, — смущенно произнес старый Гайди, сидя в глубоком кресле. — Когда происходило погребение величайшего композитора нашего времени, на его гроб не упало ни одной слезы. На похоронах не оказалось ни одного знакомого человека, не было никого и из родных.

— Но ведь Моцарт был женат! — заметил удивленно Людвиг.

— Жена его болела, а был такой суровый декабрьский день. Дождь, холод, ветер! Несколько человек шло за гробом, потом, когда гроб донесли до кладбища, не оказалось почти никого...

— Но почему же человек, такой известный, не имел друзей?

— Жил он в нужде, а в бедности друзей не прибавляется. И удивительная вещь: единственным человеком, проводившим его до кладбищенских ворот, был его заклятый враг — композитор Сальери. Он ненавидел Моцарта, ибо страшно завидовал ему. И говорил, что пока есть Вольфганг Амадей Моцарт, в Вене нет места другому композитору.

— Я слышал, когда ехал еще по Германии, что Сальери...

— Нет!.. — Старый маэстро приложил пальцы к гу-

бам. — Я знаю. Хорошая молва дома лежит, а плохая по дорожке бежит. Но я не верю в то, что Сальери повинен в смерти Моцарта. Моцарт давно был болен.

— Болен из-за бедности?

— Вполне возможно. Он был очень непрактичен, а жена еще непрактичнее. Не умел ловить свое счастье, даже если оно само просилось в руки. Предлагали ему, как и мне, концерты в Лондоне на очень выгодных условиях, но он не решился уехать из Вены, потому что императорский двор обещал ему хорошее место. А потом ему не дали ничего!

— Но говорят, что его оперы идут все время при переполненном зале.

— Да, конечно! Но почти все сборы достаются директору театра Шиканедеру. Моцарт сделал ошибку. Ему предлагали много мест в домах знати. Сам прусский король предлагал ему службу у себя.

— Наверное, не хотел быть рабом. Он испытал достаточно много унижений, когда служил органистом при дворе зальцбургского архиепископа.

— Он не хотел быть слугой больших господ, а стал подданным малых. Говорят, что Шиканедер бессовестно обирал его. Но такое встретишь не только в среде венской знати.

— Вы, маэстро, сами служили тридцать лет княжескому дому Эстергази. Были вы счастливы?

— Да, был. Надо вам сказать, что я перед этим долго играл в бродячих уличных оркестрах и жил на чердаке, где чуть ли не единственной мебелью было пианино, наполовину съеденное жуком-древоточцем. Летом в мою каморку проливался дождь, а зимой задувало снег. Часто я просыпался мокрым от дождя или присыпанный снегом.

— Я слышал, что у Эстергази вам приходилось и за столом прислуживать?

— Сначала приходилось.

— И вы не чувствовали себя униженным?

— Я не чувствовал себя голодным, а это казалось мне важнее всего.

— И все же, маэстро, такой большой художник, как вы, имел право на собственное достоинство.

— О, это сейчас очень модно — рассуждать о человеческом достоинстве! До вас там, на Рейне, доносятся очень определенные речи, произносимые во Франции. До Вены они еще не докатились, вы скоро в этом убедитесь. Я не скажу, чтобы не сочувствовал новым идеям. Сознание, что человек не обязан повиноваться, многого стоит. Но художник должен завоевать право на это сознание. Меня сделала свободным только прошлогодняя поездка с концертами в Англию. В пятьдесят девять лет! Взгляните, как теперь со мной обращается местная знать!

Композитор легко поднялся с места, открыл один из многочисленных ящичков письменного стола и положил перед гостем конверт. На нем значилось:

«Нашему благородному и любимому  
капельмейстеру фон Гайдну!»

— Вот так теперь титулет меня мой князь! Теперь я для него благородный, он присвоил мне даже дворянскую приставку «фон»! Это мне, сыну нищего каретника!

Людвиг прочитал надпись, но в словах Гайдна его задело всерьез не слово «фон», а кое-что другое.

— Простите, маэстро, но почему же вы говорите «мой князь»? Я бы не хотел называть так кого бы то ни было. Не значит ли это, что он может называть вас «мой капельмейстер»?

— Князь Эстергази может так называть меня, потому что я служил еще его деду.

— И теперь служите! — поразился Людвиг. — Но ведь поездка в Англию принесла вам не только славу, но и деньги, позволяющие вам обходиться без покровителей!

— Не говорите так. И вам придется искать покровительства знати. Иначе как вы удержитесь в Вене?

— Я умею играть на рояле, а с вашей помощью хотел бы стать композитором.

— Вы уже композитор! Я еще в Бонне слышал ваши сочинения. Но я сомневаюсь, что вас это прокормит здесь.

— На это я не рассчитываю. Написанному прежде я не придаю никакого значения. Начну учиться с самого начала. Но играть на рояле я умею!

— Хотите жить уроками? Но это такая обуза для подлинного художника!

— А может быть, мне посчастливится когда-нибудь дать сольный концерт? — неуверенно сказал Бетховен. — Я привык жить так скромно, что даже небольшого вознаграждения мне хватило бы надолго.

На лице Гайдна промелькнула грустная улыбка.

— Вы смотрите на Вену через розовые очки!

— Говорят, что это самый музыкальный город на свете.

— В этом можете не сомневаться! Но публичные концерты здесь бывают крайне редко. Художники выступают только в домах этих самых Лобковицев, Ностицев, Лихновских. Только там вы можете заработать деньги.

— У меня есть к ним рекомендательные письма, но мне не хотелось бы прибегать к этому.

— Какая чепуха! — удивился маститый композитор. — Сейчас же достаньте эти письма, наденьте самый лучший фрак и несите их тем, кому они предназначены. Вы что, так богаты, что можете прожить в Вене на свои средства?

Людвиг печально опустил голову.

— А я-то думал, что мне удастся прожить без того, чтобы твердить: «Конечно, ваше сиятельство! Разумеется, ваше высочество!»

— Может быть, со временем так и будет. Но сейчас — нет!

— Но уж лакейскую ливрею я не надену никогда! — решительно заявил Бетховен.

— Лихновский и не потребует этого от вас. Он позаботится, чтобы вы не чувствовали себя униженным. Но все-таки, мой молодой друг, вы пока еще не вправе держать голову слишком высоко. Немного смирения вам не повредит.

— Дорогой маэстро, я всегда испытывал чувство стыда, когда вынужден был облекаться в зеленый фрак, отороченный золотом, и пудрить волосы согласно предписанию. Скажите, какое же различие тогда между слугой и художником?

— Я уже говорил, что различие должно образоваться усилиями самого художника.

— А я хотел бы жить в мире, где все люди равны, — сказал Людвиг, и в голосе его слышалась горечь.

— Кто бы не хотел жить в таком мире? — живо согласился Гайдн. — Может быть, это когда-нибудь и будет. Через столетия, не раньше. А пока мы должны быть благодарны людям, дающим нам, музыкантам, средства к существованию.

Бетховену было горько, что в первую же встречу со своим учителем он не находит с ним общего языка, но все же он решительно вскинул голову:

— Я не из тех, кого называют неблагодарными, маэстро! Я с любовью вспоминаю каждого, кто когда-нибудь сказал мне доброе слово в тяжелую минуту. Но почему я должен быть благодарным богачу, для которого играю в то время, когда он обедает и ужинает? Я отдаю ему свое искусство, он мне платит. Еще вопрос, кто кому обязан больше!

— Вы предубеждены против знати. И все же мы бы не могли существовать без нее. Господь бог сам создал эту лесенку, на вершине которой стоит император, ниже

знать и потом, там где-то внизу, все остальные, до последнего шпигеля.

— Простите, маэстро, я думаю, что эта лесенка со-  
здана не богом, а людьми. Это видно хотя бы из того, что  
французы ее спокойно сломали, а короля и князей с верх-  
них ступенек спустили.

— О, не говорите мне о Франции! Там знать и ко-  
роль забыли, что обязаны быть защитниками простого  
человека. Теперь они несут за это кару. Не люблю раз-  
говоров о революции! От одного этого слова меня охва-  
тывает ужас. Оно означает кровь, разбой...

— Я видел французские революционные войска.  
Они вели себя в немецких землях вполне пристойно.

— Где же вы их видели? — заинтересовался  
Гайдн.

— Я ехал через области, занятые французскими вой-  
сками. И слышал, как они пели новую революционную  
песню. Называется «Марсельеза». Необыкновенная  
вещь, маэстро! Каждая нота в ней полна огня!

— Вы могли бы мне ее сыграть?

— С радостью! — Людвиг уселся к роялю, и тотчас  
завучал, вероятно впервые в Вене, атакующий гимн ре-  
волюции. Пианист подпевал вполголоса, но с большим во-  
одушевлением.

— Прекрасная мелодия, — одобрительно отозвался  
Гайдн.

— Говорят, что с этой песней французы одержали  
победу у Вальми, а пруссаки бежали от нее.

— Вы должны еще многое рассказать мне о фран-  
цузах. Не люблю революцию, но люблю революционеров.  
Им свойственны темперамент и острота. Это видно по  
«Марсельезе». Но не хотите ли немного пройтись? Мне  
кажется, что когда ноги в движении, и мозг лучше ра-  
ботает.

Они вышли из комнаты. Яркое солнце прорезало  
ноябрьскую мглу.

Всякое начало трудно. Людвиг Бетховен, вероятно,  
не согласился бы с таким утверждением, если бы кто-  
нибудь спросил его об этом четыре года спустя. Он за-  
был, что и его первые шаги были трудны, но он преодо-  
лел их еще в Бонне. В императорскую же столицу он  
явился готовым виртуозом. Рекомендации открывали ему  
все двери, в которые он стучался, а его блестящее мастер-  
ство открывало эти двери нараспашку.

Музыкально образованная знать охотно приглашала  
Бетховена на домашние музыкальные вечера.

В декабрьский вечер, такой же ненастный, как четы-  
ре года назад, когда молодой приезжий из Бонна рыскал  
по столице в поисках комнатки подешевле, гости Лихнов-  
ского сидели за угощением и старались выведать у хо-  
зяина тайну обещанного им сюрприза.

— Что это за обычай — собрать у себя друзей и не  
говорить, по какому случаю они приглашены? — шу-  
тливо выговаривал хозяину русский посол Разумов-  
ский. — Надеюсь, наши прелестные хозяйки смилости-  
вятся и удовлетворят наше любопытство.

— Кристина, не выдавай! И вы, матушка, молчи-  
те! — предупредил Лихновский, обращаясь к жене и ее  
матери, графине Тун.

Пожилая дама шутивно покачала головой:

— Ничего не обещаю, милый Карл! Молчаливость не  
относится к числу женских добродетелей.

— Благодарю вас хотя бы за малую толику надеж-  
ды. — Разумовский галантно склонил голову. — На-  
деюсь, что княгиня нам поможет, — обратился он к  
женщине с весьма примечательным лицом.

Хотя княгине было уже далеко за тридцать, в ее ли-  
це сохранилось что-то девичье. У нее были тем-  
но-голубые, широко поставленные глаза, как это часто  
бывает у детей. Слегка надув маленькие губки, она ска-  
зала:

— Я тоже не люблю никаких тайн! Хотя бы потому,  
что ожидать исполнения мечты бывает часто приятнее,

чем увидеть ее осуществленной! А как можно на что-то надеяться, если ничего не знаешь?

За столом сидело еще не менее десятка гостей, и все они атаковали хозяина, добиваясь, чтобы он сказал им наконец, ради чего он собрал общество на «вечер с сюрпризом».

В домах знати до сего времени господствовали утонченные манеры, но им уже грозило забвение. Новая Франция противопоставила изысканной салонной учтивости искренность и грубую правду, нежному «менуэту» — стремительную «карманьолу», а парикю с косой — свободно развевающимися волосы.

Правда, общество, собравшееся в салоне у Лихновских, еще не привыкло к этим удивительным переменам. Дамы отлично чувствовали себя в пышных юбках и искусно причесанных высоких париках. Мужчины были в узких панталонах, шелковых чулках и парчовых камзолах, их парики были густо напудрены.

И сам дворец, и мебель в стиле рококо, и все вокруг было как бы причесанным и напудренным.

Хозяин, статный мужчина сорока лет, волевой подбородок и черты лица которого свидетельствовали о том, что уступчивость не в его характере, на этот раз счел за благо удовлетворить любопытство гостей.

— Я позволил себе пригласить вас присутствовать при состязании.

— Состязание? — удивленно отозвалось сразу несколько голосов.

— Господа, нет никаких оснований беспокоиться! Сражение будет бескровным. Речь идет о встрече двух музыкантов.

— Кто? С кем? — сыпались вопросы.

— Вы будете решать, дамы и господа, кто является лучшим пианистом в нашем городе.

— Конечно, аббат Елинек, — отозвались голоса.

— А я считаю, Людвиг ван Бетховен, — уверенно произнес Лихновский.

— Но он еще слишком молод!

— Двадцать пять лет — это немало. Моцарт был великим мастером уже в пятнадцать!

— Бетховен не Моцарт!

— Он равен ему! Но о предстоящем сражении Бетховен ничего не знает. Неправидит такие вещи и с удовольствием бы уклонился. Я просил его быть, чтобы сыграть для общества избранных знатоков музыки. К тому же он не может отступить: я пригласил на наш концерт Гайдна и Сальери.

— Его учителей?

— Да, Гайдн занимался с ним до тех пор, пока не уехал в Лондон. А Сальери и сейчас дает ему уроки вокальной композиции. Так что мы отрезали ему пути к отступлению. — Князь хитро засмеялся.

— Думаю, что Бетховен не отказался бы играть, даже если бы Гайдн и Сальери не пришли. Вы, как его меценат, вполне можете ему просто приказать, — заявил мрачный князь Лихтенштейн, враг всяких перемен, ревниво державшийся старых нравов.

Ответом ему был звонкий смех Марии-Кристины, жены Лихновского.

— Приказать Бетховену? Это то же самое, что приказать морю катить свои волны вспять!

— Он грубоват, этот рейнский музыкант. И не всегда обходится с нами достаточно почтительно, — добавил к словам жены князь Лихновский.

— А ему следует напомнить, что за свои деньги вы имеете право кое-чего потребовать, — выразил свое мнение Зильберберг.

— Мой гофмейстер попытался деликатно намекнуть ему на это. И знаете, что он ответил? «Его сиятельство платит не из собственного кармана, а из крестьянского!»

— Какая дерзость!.. — раздались возмущенные возгласы.

— Эти бессовестные идейки тянутся к нам из Парижа, — высказался Лихтенштейн.

— Все скверное исходит оттуда, — согласился с ним Зильберберг. — Вы обратили внимание, что многие молодые люди из хороших семей перестали носить косу? Среди студентов эта мода распространяется как болезнь.

— Дело не только в косах. Меняются времена, меняются нравы, — вмешался молодой Лобковиц. — Может случиться, что и вы, барон, скоро будете ходить остриженным по новой моде!

Этот тон был несколько резок, но Лобковиц мог позволить себе такую выходку. Двадцатичетырехлетний франт был любимцем венской аристократии благодаря своему счастью и... своему несчастью. В семилетнем возрасте он стал хромым и мог передвигаться лишь с помощью костылей. Зато судьба послала ему огромное богатство, когда он еще был несовершеннолетним. Однако он был прост и добросердечен. Поэтому барон не оборвал его резко, а сказал:

— Упаси бог, чтобы я когда-нибудь появился с короткими лохмами, будто какой-нибудь холоп. Остричь косу для меня то же, что растоптать императорский флаг!

В этот момент лакей доложил:

— Ваше сиятельство, музыканты собрались в зале.

— Гайдн тоже пришел?

— Да. Господин Гайдн, господин Сальери, квартет его высочества князя Разумовского и остальные музыканты, кроме одного.

— Кто же это?

— Господин Бетховен, ваше сиятельство!

В зале раздались восклицания. Бетховен не пришел! Помрачневший Лихновский молчал. Потом обратился к гостям:

— Извольте, пожалуйста, пройти в музыкальный зал! Бетховен еще придет. Он всегда держит слово.

Почетное место в зале занимал прекрасный рояль, полукругом были расставлены попирты для нот. Пять музыкантов в париках и темных фраках стояли наготове

со смычками в руках. Они собирались исполнить первый номер программы — квинтет.

В стороне на маленькой софе расположились приглашенные знаменитости. В середине сидел улыбчивый Гайдн, а справа от него Антонио Сальери, директор италийской оперы, содержащейся императором. Выражение обиды никогда не сходило с его лица. Удивительно узкие губы были опущены книзу, крупный нос несколько сплюснут на кончике. Третьим в этой группе, поднявшейся со своих мест, чтобы поздороваться с вошедшими, был аббат Елинек. После смерти Моцарта он считался лучшим пианистом Вены... Все они были в длинных темных камзолах с фуляром на шее, в белых париках с косой.

— Господин Людвиг ван Бетховен!

Музыкант, о котором только что доложили, быстро вошел в зал. Он поклонился князю и проговорил с искренним огорчением:

— Простите, я немного опоздал. Но это произошло не по моей вине. Виноват мой парикмахер. — Он слегка повел головой, и общество ахнуло от удивления.

— О господи! Он явился без косы! — еле выговорил барон Зильберберг.

Волосы Бетховена, черные как смоль и такие густые, что казалось, будто гребень не проредится через них, были в самом деле острижены по новой французской моде. Пряди волос, зачесанные вверх за уши, незавитые в локоны, ниспадали на шею. Изумленное общество хранило молчание. Только хромой Лобковиц, которому хорошее настроение никогда не изменяло, потихоньку засмеялся.

Лихновский сдержанно улыбнулся:

— Аккуратность — вежливость королей. Да и опоздание так незначительно, что мы можем простить его вашему парикмахеру! Впрочем, вы пришли в самое время, чтобы услышать собственный квинтет. Именно его исполнением мы начинаем наш вечер.

Едва в зале воцарилась тишина, пятерка смычковых

запела. Некоторое время Людвиг внимательно слушал, музыка звучала так чисто и выразительно, как только можно было пожелать.

И его мысли обратились в прошлое...

Квнтет, звучавший сейчас в великолепном зале дворца Лихновских, появился на свет еще в бедном жилище на Рейнской улице в Бонне. Правда, тогда Людвиг написал это сочинение для восьми инструментов, теперь оно было инструментировано лишь на пять, но мелодия звала множество воспоминаний.

Как живет теперь старый город над могучей рекой? Чему радуются и о чем печалются его друзья? Сколько важных событий свершилось с того дня, когда он четыре года назад покинул родной край!

Не прошло и месяца после его отъезда из Бонна, как скоростижно скончался незадачливый отставной тепорист Иоганн Бетховен. Людвиг не смог даже быть на похоронах. Только двое сыновей — аптекарский помощник Николай и княжеский музыкант Каспар проводили отца на кладбище.

Жизнь менялась. Курфюрст, правда, вернулся весной в свой роскошный замок, но похозийничал там недолго. Седьмого октября 1794 года в город вошли французские полки. Бонн не пострадал от войны, но все же жизнь населения переменилась.

Многие его жители до сих пор существовали тем, что прислуживали во дворце курфюрста. Теперь этого источника жизни не стало. Сбежал князь, и за ним исчезло дворянство, уехал кое-кто из богатых горожан, ушло войско, прекратил свои занятия университет, не открывала своих дверей опера. На что теперь живут они?

Многие бежали из Бонна. Так однажды и оба брата Бетховена объявились в столице. С Иоганном\* не было сложностей. Он легко нашел место в хорошей аптеке. Но как быть с Карлом, способности которого к музыке

\* В ту пору братья Бетховена уже носили свои вторые имена: Каспар — Карл, Николай — Иоганн.

не выше посредственных? А Вена кишит хорошими музыкантами. Одних учителей музыки здесь больше трехсот.

Людвиг так глубоко погрузился в воспоминания, что совершенно потерял представление о происходящем. Его вывел из этого состояния толчок. Одновременно послышался резкий голос, говоривший по-итальянски:

— *Attencione\**, господа аплодируют вам! Квнтет кончился. Кланяйтесь же, черт возьми!

Бетховен удивленно огляделся вокруг.

Знатное общество обратилось к композитору. Понукаемый Сальери, Людвиг поднялся и поклонился. Только теперь действительность вернула его из далекого путешествия.

Лихновский попросил пастора, чтобы он сыграл одно из своих сочинений. Пианист охотно согласился. В эту минуту Бетховен наконец понял, для какой цели он приглашен сегодня. Как теперь поступить? Уйти? Но тогда скажут, что он, Бетховен, испугался состязания.

Пастора высоко ценил Моцарт. Вечно всем недовольный Сальери и тот говорил о нем уважительно. Был известен Елинек и как сочинитель. Особенно славились его вариации на темы Моцарта.

Как раз одну из них он и разыгрывал сейчас — нежно, старательно, без единой ошибки.

Потом у рояля его сменил Бетховен. Он заиграл одну из своих фортепьянных сонат, которая год назад была напечатана с посвящением Гайдну. Он выбрал для исполнения сейчас самую трудную, сонату *c-dur*, сочинение виртуозное.

Аплодисменты, раздавшиеся вслед за последним ударом пальцев Бетховена, были более горячими, чем после игры Елинека, но глаза слушателей вопросительно перебегали от одного пианиста к другому. Все знали, что настоящая борьба впереди. Оба должны были сыграть импровизацию на тему, заданную слушателями. Это значи-

\* *Attencione* (итал.) — внимание.

ло сыграть вещь, полную неожиданных музыкальных идей и технических трудностей.

Елинек подошел к роялю. В его поклоне, слишком уж глубоко, проглядывало смирение. Однако в мимолетной улыбке чувствовалась уверенность в легкой победе.

— Не будет ли любезна очаровательная хозяйка дать мне тему, и я попытаюсь развить, насколько мне позволят мои слабые силы, — произнес он тихо.

Лихновская назвала песню из оперы Сальери «Ассурбанипал». Это был знак внимания присутствующему здесь композитору. Несколько человек зааплодировали, и польщенный Сальери вскопчил живо раскланялся. Жесткая линия его рта на мгновение смягчилась улыбкой.

Композиция зазвучала в нескольких тональностях, в разной окраске, в разных регистрах. Однако в игре пианиста не было своеобразия. Он не внес в исполнение ничего своего. Когда он кончил, хлопки были доброжелательными, но не слишком долгими.

Настала очередь молодого пианиста.

Когда Бетховен выпел вперед, было ясно, что он в эту минуту не видит ничего перед собой, кроме ряда белых и черных клавиш. Мария-Кристина подошла к роялю и сыграла несколько тактов из квартета Гайдна. Старый maestro ответил на это проявление внимания улыбкой и учтивым поклоном.

Бетховен усеял и подождал, пока утихнет шум. Потом рояль заговорил. Гайдновская тема начала преображаться под руками пианиста. Минутами казалось, что это не один виртуоз играет на инструменте, из которого он способен извлекать одновременно более десяти тонов, а что под его управлением звенит и грохочет целый оркестр. И в этой буре звуков пальцы скользили с удивительной легкостью.

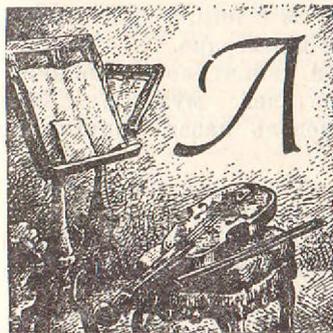
И хотя они больше походили на пальцы чернорабочего: короткие и широкие, с подушками на концах от бесчисленных упражнений — тем не менее они извлекали звуки нежные, как мерцание звезд...

Однако больше всего Бетховен поразил присутствующих глубиной музыкальной темы, страстным прочтением каждого такта, искренностью и необычайной силой чувств. То он захватывал своих слушателей весельем так, что все блаженно улыбались, то повергал их в такую скорбь, что кое-кто готов был разразиться рыданием. Он обращался с их чувствами как волшебник, внушая им по своему усмотрению то трогательную нежность, то героический подъем духа.

Бетховен играл будто охваченный горячкой. Его смуглое лицо еще больше потемнело, на висках бились жилы, глаза расширились.

Когда пианист отнял наконец от клавиш усталые руки, в зале наступила тишина. Она была красноречивее оваций. Волнение будто связало слушателей.

Но через несколько мгновений гром аплодисментов взорвался неожиданно, как град, и продолжался долго, казалось, что ему не будет конца. Победа молодого музыканта не вызвала сомнений.



юдвиг ван Бетховен, одетый в точном соответствии с предписаниями моды — в сюртуке с фалдами, стянутом в талии, узких брюках, с белоснежным фуляром на шее, поспешно спускался по лестнице трехэтажного дома на Стефанской площади. Выйдя из ворот, он еще раз взглянул на свои большие золотые часы и обеспокоенно покачал головой. Потом зашагал в тумане декабрьского вечера.

Вблизи дома его поджидал юноша лет семнадцати, круглолицый и кудрявый.

— Боюсь, Фердинанд, как бы не опоздать к сражению, — сказал Бетховен. — Бегите за угол, там стоят извозчики, наймите карету попримичнее!

Юноша охотно поспешил за угол. Композитор с улыбкой смотрел ему вслед — ведь это музыкант из Бонна! Как было не любить его!

Самый старший из десяти детей концертмейстера Риса решил завоевать Вену. Он был в том же возрасте, что и маэстро, когда тот тринадцать лет назад пустился в путь к Моцарту. У Риса в кармане было ровно семь талеров, когда он постучал в дверь Бетховена.

Подлый страха и сомнений, он вез Бетховену письмо отца. И сразу же очутился в объятиях своего прославленного земляка, услышал слова, согревшие его:

— Мое сердце всегда открыто каждому честному молодому музыканту. А если он уроженец Бонна и носит имя Рис, в его распоряжении и мой кощелек. Напишите отцу, что я буду заботиться о вас, как о сыне. Я всегда помню, как он первым пришел мне на помощь, когда умерла моя матушка.

Бетховен сдержал свое обещание. Он помог юному земляку деньгами и сам занимался с ним. Учил его требовательно, добросовестно — и безвозмездно.

В этот вечер он хотел ввести талантливого пианиста в общество светских покровителей музыки, хотя юноша всего лишь несколько недель назад приехал в город.

Когда его румяный ученик вернулся с одноконными дрожками, учитель добродушно проворчал:

— На мой вкус — отличная колесница, но к графу Фрису лучше приплестись на своих двоих, чем в экипаже, запряженном не в пару.

Однако все же сел и подвинулся в угол, будто боялся, что не хватит места этому тоненькому пареньку в легком пальто. Потом Бетховен заговорил вполголоса, будто сам с собой:

— С юности я терпеть не мог эти турниры между му-

зыкантами. Впрочем, Вергилий\* говорил... как это он говорил? «Перед злом не отступай! Смело иди ему навстречу...» Штейбельт — это воплощение поверхностности. А поверхностность в искусстве — величайшее зло. Как, впрочем, и во всяком деле. — Потом он обратился к Рису: — Сегодня, милый Фердинанд, вы будете свидетелем сражения, которое многие венцы хотели бы увидеть.

Юноша взглянул на учителя непонимающе:

— Говорят, что Штейбельт замечательный виртуоз!

— Это утверждает прежде всего он сам. Мне рассказывали, будто он специально приехал из Парижа, чтобы меня «ссадить с трона». А некоторые мои друзья, как, например, присутствующий здесь Фердинанд Рис, опасаются за меня. — Он с улыбкой взглянул краем глаза на своего ученика: — Не правда ли?

— Да, — простодушно ответил юноша. — Говорят, что в Париже он считается непревзойденным. А когда он был на гастролях в Германии, в газетах ему воздавали такие хвалы!

— Кому по душе жонглеры и канатоходцы, те могут таять перед ним. Этот немец просто фигляр. Я ему прощаю то, что он гордится умением изобразить на клавишах звяканье бубенчиков, шум леса, рокот воды... и кто знает, что еще. И вовсе не завидую его умению отступать на фортепьяно этакое тремоло — подражание скрипичным пассажам. Это все пустяки, суета...

Они вошли в зал, довольно просторный и полный оживления. Рис скромно отошел в сторону, когда увидел, как Бетховену протягивают руки, как встречают его приветливыми улыбками. Появился и Даниэль Штейбельт, с завитыми волосами, с воротником такой высоты, что подпирал ему уши. Держался он победителем, по

\* Вергилий Марон Публий (70—19 гг. до н. э.) — римский поэт. Автор «Энеиды».

доброте душевной снисходящим до несчастного побежденного.

Это чувство превосходства возникло у него неделю назад, после того как Бетховен отказался сесть к роялю во второй раз. Людвигу надоело слушать подражание колокольчикам и щебету птичек, которые демонстрировал его соперник, и он ушел домой.

Штейбельт воспринял это как бегство, как боязнь поражения. Так же он истолковывал и в разговорах. Полный уверенности, вступал он сегодня в решающее сражение с Бетховеном.

Играли квинтет его собственного сочинения. Он исполнял партию фортепьяно. Штейбельт продемонстрировал в самом деле необыкновенную виртуозность своих пальцев.

— Bravo, bravo! — раздались восторженные возгласы, поддержанные шумными аплодисментами.

Такие же горячие похвалы выпали и на долю Бетховена.

Однако окончательное мнение о том, кто же является лучшим мастером, должно было сложиться в результате исполнения свободного сочинения «без нот» — любимой импровизации пианистов. Первым к исполнению своей импровизации приступил Штейбельт.

В таких концертах предполагалось, что исполнитель играет не подготовленную заранее пьесу, а экспромт. При первых же тактах по залу прокатился ропот неудовольствия: было ясно, что пианист хитрит!

Его «импровизация» явно была старательно разучена дома. Парижский виртуоз избрал для своих вариаций тему, уже разработанную Бетховеном в одном из своих сочинений.

Ценителей музыки Штейбельту трудно было обмануть своей прозрачной уловкой. Его проводили сдержанными аплодисментами. Так, из вежливости.

В зале воцарилось невероятное напряжение. Как поступит вспыльчивый Бетховен, глубоко уязвленный вы-

ходкой? Ведь он способен подняться и уйти, даже не взглянув ни на кого.

Он шагнул к роялю, будто его кто-то подтолкнул. Множество глаз следило за каждым движением Бетховена, и были поражены тем, что он сделал.

Продвигаясь среди пультов с нотами квинтета Штейбельта, он как во сне провел по ним руками и, захватив виолончельную партию, установил ее на пианино невиданным способом — вверх ногами!

Потом начал, переворачивая ноты, выстукивать одним пальцем нелепую последовательность звуков — это была совершенная бессмыслица, мелодия начисто отсутствовала.

Слушатели сидели затаив дыхание. Что хочет сказать Бетховен сумятицей звуков? Что же из этого получится в конце концов?

То, что они вслед за этим услышали, было невероятно! Бессвязные звуки, заимствованные из стоящего перед ним вверх ногами листа, неожиданно вылились в напев. Постепенно из него выросла мелодия невиданной красоты. И удивительно — в этой фантазии время от времени возникало своеобразное скопление ритмических диссонансов, органично сливающихся с основной мелодией.

Штейбельт был сражен. Он понял, что соперник достиг высот мастерства, ему недоступных. Его гордость была смертельно уязвлена. Он понял, что проиграл все, ради чего ехал в Вену: славу и богатство. И тихо выскользнул в вестибюль.

Победа Бетховена была настолько бесспорной, что на исчезновение Штейбельта никто не обратил внимания.

Когда они вместе с Рисом выходили из зала, Бетховен спросил:

— Хотите сегодня увидеть кусочек Бонна? В таком случае пойдите со мной в кофейню на Петровской площади! Там нас ждут люди, вам известные.

В отдельной комнате святопетровской кофейни их ждали четверо. Трое из них были почти одного возраста,

не старше двадцати пяти лет. Но четвертому, круглолицему, с красноватой кожей лица и черными сверкающими глазами, было не меньше сорока лет. Он сидел напротив двери и первым увидел входящего Бетховена. Стремглав вскочив, он высоко поднял полупустую чашку с черным кофе и трижды ликующе пропел, все более высоким тоном:

— Vivat victor! \*

Закончил он октавой, которую тянул так долго, что композитор прервал его:

— Никакой не победитель, а Людвиг и Фердинанд! — Бетховен переступил порог, и тут только из-за его атлетической спины возникла хрупкая фигурка.

— Так это Рис! — радостно закричал один из ожидавших, и худощавый юнец оказался в распростертых объятиях Стефана Брейнига.

Средний из трех сыновей доброй покровительницы молодого Бетховена приехал в Вену всего несколько дней назад. Завершив юридическое образование, он искал должности на государственной службе.

Потом Риса приветствовали еще двое земляков — братья Бетховена: Карл и Иоганн. Им юноша совсем не удивился. Он знал, что они в Вене уже целых четыре года: Карл работал где-то кассиром, Иоганн — аптекарским помощником. В Вене шла нелестная молва о братьях композитора.

Наконец Бетховен познакомил своего молодого спутника с человеком, встретившим их музыкальным приветствием.

— Николай, граф фон Музыка! — торжественно произнес он.

Но улыбающийся мужчина пожал Рису руку и представился иначе:

— Цмескаль.

На круглом лице Риса отразилось такое смущение, что все рассмеялись.

\* Vivat victor! (лат.) — Да здравствует победитель!

— Это маэстро дал мне такое прозвище, присвоил такой титул, — разъяснил Цмескаль. — Подождите, он и вас быстро перекрестит.

Бетховен весело рассмеялся.

— Но, дорогой Цмескаль, что вы здесь, собственно, делаете? — сказал Бетховен, положив свои сильные руки на стол. — Вы, кажется, должны были бы находиться в Венгрии? А уж если вы оскверняете Вену своим присутствием, почему вы не соизволили прибыть к Фрису? Откуда вы знаете, кто там одержал победу, если сами дезертировали с поля битвы?

Грузноватый Цмескаль с притворным удивлением посмотрел на композитора.

— Смилуйтесь, маэстро! Не оглушайте меня градом вопросов, будто я Штейбельт, оглушенный градом звуков. Из Венгрии я вернулся лишь под вечер. А откуда мне известно, что вы победили? Гм, от самого себя! Разве есть в свете препятствие, недостижимое для любимца Вены Людвиг Бетховена, предмета тайных мечтаний молодых княжён, графинь и баронесс? Композитор, которому нет равных в фортепьянной музыке, с которым не может соперничать ни один из живущих и ни один из покойных композиторов! Наполеон музыки!

Дружеская пикировка на этот раз продолжалась недолго. Младшие братья требовали подробного отчета о состязании во дворце.

— Поручаю Рису быть корреспондентом с места военных действий, — объявил Бетховен. — Я же заслужил право на покой и чашку кофе!

Юноша был польщен таким вниманием. Он с удовольствием начал рассказывать обо всем виденном, по временам бросая на Бетховена взгляд, полный обожания. За несколько недель, что Рис прожил в Вене, он полюбил своего учителя всей душой. Он почитал в нем не только гениального художника, но видел в нем пример мужественности. Тот сидел, склонясь над чашкой кофе — образец физической мощи, — широкоплечий, с го-

ловой, которую так красил высокий выпуклый лоб, с густой гривой волос, с твердыми чертами лица.

Между тем композитор не замечал восторженных взглядов, не слышал слов восхищения. Он дышал сейчас воздухом родины, думал о доме Брейнингов, где бывал так счастлив.

Бетховен задумался, убаюканный воспоминаниями. Как хорошо посидеть с тем, с кем можно оставаться самим собой!

В этом маленьком обществе никто не досаждал ему расспросами. Все знали о способности Бетховена замыкаться в себе на долгие часы. Композитор не выносил, когда его отвлекали, если он хотел остаться наедине со своими думами.

Бетховен пребывал в задумчивости до тех пор, пока не отзвучал голос Риса и слово взял его брат Карл. Теперь душа его как бы раздвоилась. Часть ее продолжала свой путь по дорогам воспоминаний, другая возмущалась болтовней брата, бранила и высмеивала его.

— Людвиг это ничего не стоит, — распространялся Карл. — Только сядет к роялю — и соната уже готова. Остается только записать.

«Глупец, — думал сердито композитор. — Это твои бредовые фантазии. Никогда мне легко не дается ничего. Посмотрел бы ты мои черновики! Как перечеркиваю, как выбрасываю готовое! Ты бы увидел, какого труда стоит каждый такт».

— Имя Бетховена сейчас в моде, — хвастал Карл с таким видом, будто он и есть тому причина. — Сколько высокородных барышень сейчас к нам льнут! Каждая считает за честь стать ученицей самого прославленного пианиста Вены.

Цмескаль, слушавший все это с неудовольствием, внезапно рассмеялся:

— Больше всего барышням, наверное, нравится, как он обходится с ними! Ему бы впору розгами обзавестись,

чтобы он мог пройти по их нежным пальчикам! Когда они играют плохо, он бросает ноты на пол, бранится!

— Так и нужно! — отозвался аптекарский помощник Иоганн, молчавший до сих пор. — Иначе они могут подумать, что играть на фортепьяно так же легко, как бить в тамбурин. Мы все прошли в Бонне суровую школу.

— Возможно, — смеялся Цмескаль, — только ведь вы не такие нежные создания, которые учатся у него. А к Людвигу ходят сущие ангелы! Например, некая Гвиччарди. Ручаюсь, милый Рис, что у вас голова пойдет кругом, как только вы ее увидите!

Это имя мгновенно дошло до сознания задумавшегося композитора и снова отдалило его от говорливой компании.

Джульетта Гвиччарди!

Он прекрасно помнит тот день, когда она впервые пришла в его дом. Казалось, что от нее исходит свет — будто из-за туч вышел месяц. Чистое, прекрасного овала лицо в рамке из черных волос... Удлиненные глаза, а в них удивительная глубина. Ее уста, еще по-детски припухшие, природа создала похожими на маленький красный цветок...

Семья его друзей, Брунсвиков, просила композитора послушать ее игру. Она была двоюродной сестрой Терезы, Жозефины и Шарлотты Брунсвиков и их брата, молодого Франца Брунсвика.

— Я Гвиччарди! — войдя, просто сказала она.

Он поклонился и движением руки пригласил сестр на единственный свободный стул — прямо у рояля.

Девушка опустилась на предложенный стул бесшумно, как опускается на землю легкое перышко, долго плававшее в воздухе. Широкая юбка легла вокруг нее. Она молча смотрела на него из-под четко обозначенных дуг бровей. Джульетта уже была наслышана об этом славном «дикаре». Так как Людвиг тоже молчал, она вдруг пропознесла:

— Добрый день!

Это следовало сделать входя, а сейчас это могло показаться смешным, и она рассмеялась. Что могло быть хуже! Он сказал ей сухо, как только мог:

— Мне говорили о вас Брунсвикл. Однако я должен предупредить, что с начинающими не занимаюсь. Поэтому не могу поручиться, что стану заниматься с вами. Что вы хотите мне сыграть?

Но он уже знал в это мгновение, что будет учить ее, что он уже в плену у ее темных глаз. «Сколько ей может быть лет? — спрашивал он себя. — Шестнадцать? Семнадцать?»

Джульетта разложила принесенные с собой ноты и начала играть его сонату. Он уже привык к тому, что молодые женщины, старавшиеся попасть в число его учениц, поступали так, добиваясь его благосклонности. Но ей этого не требовалось. Она сразу глубоко задела его сердце, не желая этого и не ведая об этом. Впрочем, она оказалась неплохой пианисткой.

Потом Бетховен стремился, чтобы прелесть ее игры не уступала прелести ее облика. Он был к Джульетте строг, как ни к кому другому...

Они часто виделись в светских салонах, и он обратил внимание, что она с удовольствием ловит восхищенные взгляды и ей нравится, когда за ее спиной раздается шепот: «Смотрите, какая красивая итальянка!» Это сердило его.

Он топал ногами, бросал на пол ноты, когда она играла небрежно. Полезно проучить их — учеников из дворянских семей!

Она собирала ноты, улыбаясь своими волшебными устами. Позднее он сам стал подбирать их, и она вознаграждала его взглядом, в котором порой виделось нечто большее, чем простая благодарность. Этот взгляд укрощал его, и, когда девушка уходила, он тихо предавался мечтам.

Ему было около тридцати лет, судьба принесла ему славу, деньги, известность. Только любви недоставало

ему. Разве не может он желать ее? Мечтать о милой жене? Оп, который с малых лет знал столько горя и труда!

Он предавался мечтам, ничего не замечая вокруг себя. Оглушенный своим счастьем, он не слышал разговора, ведущегося возле него.

Внезапно его мозг пронзила страшная мысль. Мысль, которую гнал от себя, а она все снова и снова заявляла о себе, не позволяла забыть ее.

Людвигу Бетховену временами казалось, что он теряет слух. Но нет, это же невозможно! Это всего лишь временная болезнь. Не может он, в самом деле, лишиться того, что составляет суть его существования, его жизни.

Он горестно сомкнул веки и стиснул зубы, чтобы не разрыдаться. Глухой музыкант! Что может быть более трагичным?

Он тряхнул головой и резко поднялся. Так неожиданно, что сидящие рядом удивленно воззрились на него. А Людвиг подошел к ветхому пианино в углу.

Струны глухо запели скорбную мелодию. Молоденький Рис вздрогнул. Повернулся к Цмескалю, сидевшему рядом, и прошептал:

— «Патетическая»!

Цмескаль благоговейно кивнул.

Лицо Риса было полно радостного воодушевления. Он и не мечтал услышать когда-нибудь в исполнении самого композитора сонату, из-за которой по всей Германии среди музыкантов велись неумолкающие споры. Молодые боготворили ее, старшие ненавидели. Профессора запрещали студентам разучивать и исполнять необыкновенное сочинение, разрушавшее обветшалые представления о законах композиции. Однако молодые музыканты покупали ноты и тайне разучивали сонату.

Напрягая до предела слух, Рис буквально впился глазами в лицо игравшего. Ему слышалась не просто мело-

дия, то был диалог. Будто в одном существе вели страстную беседу две души. Фортепьяно пело. Оно пело без слов, и все же до такой степени зримы были чувства, выраженные в музыке, что слушателям временами казалось, будто они сидят в театре и слушают полную драматизма оперу.

Сочинение было исполнено глубочайшей грусти, стихавшей лишь временами. В музыке слышалась печаль, а не жалоба, мужественное страдание высокой души. Иногда возникала мятежная нота, как бы далекий отзвук «Марсельезы».

Рис был тонким музыкантом. Несмотря на свою молодость, он понимал, что было так чуждо музыкантам старого склада в этом сочинении Бетховена. Это не были мелодии, полные спокойствия и уравновешенности, как у композиторов старшего поколения. Скорее здесь развертывалась драматическая картина, выраженная лишь одной музыкальной темой, но разработанной с таким блеском! Те части сонаты, которые в сочинениях прошлого глубиной не отличались, в «Патетической» были наполнены пламенным чувством.

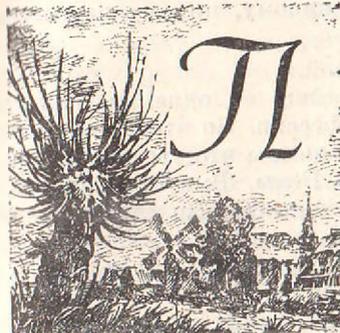
Рис уже знал эту сонату, и теперь ему было интересно видеть, какие чувства отражаются на лице композитора, исполняющего свое творение. Он слышал в ней страдание. Только в третьей, заключительной части как бы пробивается радостный свет. Грусть звучала приглушенно, слышалась надежда и даже радость.

Отзвучали последние аккорды, Бетховен сложил руки. Он утолил свою боль музыкой. Тряхнул головой, будто отгоняя от себя отзвуки пережитого горя.

Нет, он не поддастся печали! До сих пор он справлялся со всеми невзгодами, почему бы ему не справиться и на этот раз? В Вене полным-полно знаменитостей медиков. Переутомленный слух можно вылечить! Богиня счастья не отвернется. Джульетта будет с ним! И жизнь будет полна трудов и радости побед, но она станет гораздо счастливее, потому что это будет жизнь вдвоем!

Композитор повернулся к своим примолкнувшим друзьям.

— Домой! — сказал он ясным голосом. — Мы сидим здесь непозволительно долго. Я слишком много играл. Нужно и музе отдохнуть, чтобы завтра она выглядела свежее.



Профессор Шмидт сидел за столом, заставленным коробочками, банками и бутылочками, и смотрел на композитора — он умел понимать человеческие беды. Старый лекарь читал в человеческих душах. Здесь гордых покидала гордыня, а молчаливых сдержанность. Но такого отчаяния в глазах посетителя он не видел давно.

— Можете себе представить ужас музыканта, сознающего, что день ото дня теряет слух? В тридцать два года! — говорил Бетховен, сидя напротив доктора. Его крепкие руки беспечно лежали на коленях. Он побывал у многих врачей. Болезнь, о которой он недавно только подозревал, уже не вызвала сомнений.

— Почему вы думаете, что обязательно оглохнете? — успокаивал его профессор. — Не пугайте Вену, будто она может лишиться своего лучшего пианиста! И не пугайте самого себя! Скажите себе, что ваши уши просто устали. Они требуют отдыха. Дайте им его! Но не на неделю или две. Не меньше чем на полгода! Советую вам — уезжайте из Вены куда-нибудь ближе к природе, в поля.

Глаза композитора засветились робкой надеждой.

— А поможет ли это?

— Нужно твердо верить. Исцеляют не только лекарства, а прежде всего вера.

Бетховен поднялся, на лице появилась радостная решимость.

— Хорошо! Я расстанусь на время с Веной и буду жить за городом до зимы. Но, доктор, пожалуйста, обещайте мне... — Он не договорил до конца.

— Что такое?

— Прошу вас, не говорите никому, никому на свете, что Бетховен калека!

Доктор ласково кивнул головой.

— Сохранение врачебной тайны — одна из первых обязанностей людей нашей профессии. Но чтобы вы были спокойны, вот вам моя рука. Надеюсь, что все наладится. Только быстрее уезжайте из Вены. Вместо медицины пользуйтесь сельским покоем. Увидите, ваш слух восстановится!

Бетховен смотрел на врача с безграничной благодарностью.

Через неделю он поселился в деревне Гейлигенштадт, в полутора часах ходьбы от столицы.

Вдали от центра села, почти на краю, стоял невысокий сельский дом. Из серого камня, приземистый, с маленькими окнами — если смотреть на него снаружи, может охватить тоска. Но вид, открывающийся из окон, радует взор. Вот катит свои зеленоватые волны Дунай, вдали голубеют вершины Карпат, а вокруг, сколько хватает глаз, лежат дуга, виноградники, поля и сады. Задние окна смотрят в сад и на пригорки, поросшие мелко-лесем.

Река, холмы, дуга и берега, покрытые виноградниками! Не было ли все это знакомо Бетховену с детства?

Придунайская земля казалась ему скромной сестрой прирейнского края.

Братьям он сказал:

— Я стал немного странным. Когда погружаюсь в

свои мысли, ничего не вижу и не слышу. Говорите мне тогда громче. — Он все еще надеялся скрыть свой недуг.

В деревне его считают чудачком. Этот угловатый парень, с виду такой, что и быка одолеет, беспокойно мечется по тропинкам, что-то бормочет, говорит сам с собой.

Он не носит шляпу на голове, как все благовоспитанные люди, а засовывает ее подмышку или размашивает ею, держа в руках за спиной. Грива черных волос зашевеливается, он будто постоянно спешит куда-то. Но вдруг замедляет свой бег и, уставившись в гущу ветвей, слушает шум ручья. По временам он явно прислушивается к щебетанию овсянок, перестуку перепелов, к цению кукушек.

И всегда в руках у него тетрадь, в которой он делает бесчисленные заметки. Иногда дети подкрадываются к нему, сидящему под деревом, и видят, что на бумаге он пишет какие-то каракули, точки, галочки.

Бывает, он поздоровается, остановится и заговорит с пастухом. А то вдруг никого не замечает, не отвечает на приветствия. Душа его, должно быть, погружается в миры, недоступные простым смертным, и только тело блуждает здесь в лугах. Однако душа его полна покоя.

Высшая надежда дает ему радость и силы для работы. Здесь, в лугах и полях, рождается мужественная и радостная Вторая симфония. Он начал ее еще в прошлом году — тогда вспыхнула его любовь к Джульетте. Сначала в ней звела нежная песнь любви, потом зазвучал победный марш. Гремели духовые инструменты — в отличие от симфоний композиторов старшего поколения, в которых главную партию всегда вели смычковые. «Я возьму свою судьбу за горло. Не позволю, чтобы она победила меня», — написал он своему старому другу в Бонн. И Вторая симфония вторила ему.

Каникулы в Гейлигенштадте — это отдых лишь для слуха, внутри идет непрестанная работа. Побуждает его к этой работе радость — сплывший из всех двигателей. И даже новая симфония не в состоянии поглотить пол-

ностью его всевозрастающую творческую мощь. Одновременно он завершает сонату для фортепьяно — уже семнадцатую! — и пишет новую для скрипки и рояля.

Ему никто не мешает. Часто приезжает только Рис. Заботливый учитель не хотел покидать своего ученика на целых полгода.

Юноша проигрывает здесь то, что разучил, и снабжает новостями из Вены и родного Бонна. Когда отзвучит рояль, они вдвоем отправляются на прогулку, и Бетховен с удовольствием слушает его рассказ о том, что происходит в мире.

...В начале июня Людвигу пришло письмо. От письма исходил запах фиалок, но оно содержало слова, означавшие крушение всех надежд. Глаза глоснувшего музыканта пробегали по строчкам и наполнялись слезами. Так, значит, и любовь изменила!

Девушке, разумеется, было лестно, что ей предложил свое сердце и руку самый прославленный виртуоз Вены. Такое равносильно роскошной драгоценности, и ею можно украсить себя, ловя завистливые взгляды приятельниц, а потом эту драгоценность снять с шеи и отложить в сторону. Значит, графиня Гвиччарди решила сменить украшение?

Письмо кончалось жестокими словами:

«Я ухожу от гения, который уже победил, к гению, который еще борется за признание. Я хочу быть его ангелом-хранителем».

Эту ночь Бетховен провел без сна до самого восхода солнца. Потом целый день как помешанный бегал по холмам. Рассудок уже понимал, но сердце не мирилось с тем, что Джульетта покинула его.

Обессиленный, вернулся он домой, когда уже смеркалось. И снова перечитывал строки ее письма.

Потом сел к фортепьяно... Но играть не смог. Только протянул руки к клавишам и бессильно уронил их.

Как пейзаж, озаренный молнией, возникла перед ним картина того счастья, пережитого год назад. Прошедшее лето! Ушедшая радость!

Бетховен знал Брунсвиков раньше, чем встретил Джульетту. Ее двоюродный брат Франц появился в Вене два года назад вместе с сестрами — Терезой, Жозефиной и Шарлоттой. Двух старших двоюродных сестер Джульетты Бетховен учил игре на фортепьяно.

Семья Брунсвиков сильно отличалась от тех венских семей, в домах которых бывал Бетховен. Все четверо детей горячо любили друг друга, отличались независимостью характеров и смелостью суждений.

«Над моей колыбелью, — сказала однажды старшая из дочерей, Тереза, — витал дух Вашингтона и Франклина».

Покойный отец научил детей уважению к демократии.

Это было редкое явление в среде знатных семей, обычно безоглядно преданных императорскому дому и страшившихся каждого слова, от которого исходил дух свободы.

После смерти графа в поместье хозяйничала его жена. Своих четверых детей она воспитанием не угнетала. Росли они на свободе. Зимы проводили в Пеште, а остальные восемь месяцев — в коромцском имении, на бескрайней Придунайской равнине. Там бывала и Джульетта. Четверка Брунсвиков уже в детстве основала «республику» — дружеский кружок, в который принимались и наиболее близкие из гостей.

У «республики» было святилище — лужок в центре сада, окаймленный могучими липами.

Каждое из деревьев носило имя кого-нибудь из членов общества и в отсутствие как бы олицетворяло его. К кроне такого дерева обращались слова, предназначенные отсутствующему, а его потрескавшейся коре поверялись тайны.

И Бетховен получил «свое» дерево, когда впервые появился в Коромпе как желанный гость. Его липа росла рядом с деревом Джульетты.

О чем теперь шептала их листва? Смогут ли они понять перемену в девичьем сердце? Тогда, год назад, эти деревья были свидетелями того, как они, двое, обо всем поведали без слов. Красноречивы были глаза, кивок головы, пожатие рук. Все было наполнено обещанием любви навсегда!

Погруженный в воспоминания, Бетховен прикрыл глаза, и перед его взором явственно предстала веселая ватага молодых друзей: спокойный Франц, задумчивая Тереза, оживленные Жозефина и Шарлотта и, конечно, Джульетта, Джульетта прежде всего!

Немало времени провел он под старыми деревьями, кроны которых пронизывал лунный свет. Вспоминал радостные волнения, изведенные за день, снова и снова возвращался к ним в мыслях, глядя на окошко, за которым засыпала Джульетта. Иногда ее тень мелькала за легкой шторой, и бывало, что она кивала головой, увидев его в свете луны. А он захлебывался радостью.

Но иногда ночь приносила горькие раздумья. Горячая голова Людвига пылала не только от любви, но и от горестных предчувствий. Не изменит ли когда-то Джульетта избраннику, не обладающему ни светским лоском, ни красотой?.. И если останется верной она, не разрушит ли их счастье ее семья? Отдадут ли они единственную дочь за того, чье благородство имеет истинное значение лишь в царстве музыки?

Воспоминания вернулись из радостной Коромпы в грустный Гейлигенштадт. Джульетта и вправду изменила. Ведь Галленберг — граф, Бетховен — только художник.

Предчувствия лунных ночей не обманули его.

Он ударил по клавишам. В их бурном отзвуке слышалась боль. Мгновение тишины, и Бетховен заиграл сонату, посвященную Джульетте. В ней было все, что он

давно предчувствовал, — любовь и ее крушение. Это сочинение, позднее так удачно названное Лунной сонатой, было издано совсем недавно, в марте.

Когда сочинитель принес издателю свое творение, на первом листе было написано посвящение:

*Графине Джульетте Гвиччарди.*

Гейлигенштадтские рощи и поля были свидетелями его горя. Много дней он бродил по дорогам с опущенной головой и невидящими глазами. В душе была пустота, и не было сил избавиться от нее.

Приезжал Рис и был удивлен болезненным видом Бетховена. Как видно, сельская тишина не врачевала учителя.

— Вам плохо, маэстро? — участливо спрашивал он. — Может быть, я мог бы помочь? Что-нибудь сделать для вас в Вене?

Бетховен взглянул на него глазами, полными скорби.

— Есть дела, мальчик, которые никто не устроит за меня.

Молоденький пианист думал, что маэстро сокрушается о возрастающей глухоте. Он-то уже давно знал об этой беде, но делал вид, будто ничего не замечает.

Когда Бетховен недослышал чего-нибудь, Рис повторял и, улыбаясь, добавлял:

— Вы так задумались, маэстро! Наверное, замысливаете новое сочинение?

В эти летние недели глухота как раз не слишком мучила Бетховена, и именно это питало его надежды. Ему казалось, что левое ухо слышит несравненно лучше.

— Если опять смогу работать, то забуду Джульетту. Искусство излечит меня от любого страдания, — говорил он себе. — Не будь этого горя, я был бы готов обнять весь мир. Моя настоящая молодость — в самом деле! — ведь только начинается. Я это чувствую. Мои физические силы прибывают как никогда, и душевные тоже!

Не спеша вернулся он к работе над Второй симфонией, которую забросил было в отчаянии. В ней слышится

душевное спокойствие, постепенно пробивается только ему присущий голос...

Бетховен ищет радость в мелких событиях дня, стараясь благодушно смотреть на мир.

Его забавляет, что он так ловко умудряется скрывать свою глухоту от Риса — паренька внимательного и любознательного.

Но наступил день, когда он лишился и этого утешения. Близились осень. Рис приехал с почтовой каретой рано утром. Когда он подходил к деревенскому строению, вблизи садов у края деревни из-за облаков выглянуло солнце и осветило все вокруг золотыми бликами, как это бывает только в пору бабьего лета.

Из открытого окна доносилась какая-то пламенная фантазия. Как только Рис показался в дверях, маэстро поднялся из-за фортепьяно и весело произнес:

— Сегодня грех сидеть дома! Сначала навестим леса, а потом уже за рояль!

Такие прогулки по гейлигенштадтским окрестностям часто продолжались по четыре часа и потом завершались в деревенской корчме, куда ученик и учитель заходили, чтобы подкрепиться свои силы. Иногда Бетховен становился разговорчив, но чаще, погруженный в свои мысли, потихоньку напевал мелодию, пришедшую ему в голову, а иногда запевал во весь голос.

В такие минуты Рис шагал рядом и помалкивал. Но сегодня в какую-то минуту ему изменила осторожность. Это была роковая минута.

Когда они ненадолго присели на меже и маэстро стал напевать вполголоса, из рощицы послышалась мелодия. Как видно, пастух заиграл там на свирели, сзывая своих овец.

Рис знал этот простой музыкальный инструмент. Пастухи делали его из ствола бузины. Поэтому он был удивлен его отличным, мягким тоном да и мастерством игравшего.

— Хорошо играет! Правда, маэстро?

Бетховен не ответил.

— Давно я не слышал такой отличной свирели!

— Вы о чем? — удивленно спросил Бетховен.

— Пастух играет! И как чисто! Послушайте! — с готовностью объяснил юноша.

— Где это и кто играет? — мрачно отозвался Бетховен. На его лице отразилось мучительное напряжение.

Голос свирели звенел в воздухе совершенно отчетливо, и Рис, наконец поняв, какую он совершил оплошность, испешно начал отступление:

— Уже перестал. Было едва слышно. А может быть, мне это показалось. В самом деле, ведь ничего не слышно!

Эта неловкая попытка только усугубила положение.

Бетховен уже ничего не видел вокруг себя. Его лицо сразу осунулось и посерело. В каждой его черте было страдание. Он вглядывался в рощу, ища невидимого музыканта.

— Пойдем домой! — сказал он резко. Вскочил, поднял лежавшую на траве шляпу и быстро зашагал.

В мучительном молчании дошли они до дома, и Рис, как обычно, проиграл заданные пьесы, не услышав ни одного замечания от учителя.

С этого дня перед Бетховеном разверзлась земля: черная пропасть преградила путь в будущее. На что он мог еще надеяться? Слух не улучшался ни на йоту. А может быть, и ухудшился, раз он не услышал пастушью песню.

«...Да, это конец! Кто станет слушать виртуоза, не слышащего того, что играет? А его сочинения? Они и теперь кажутся кое-кому непонятными и тяжеловесными. Но его не понимают только потому, что привыкли к музыке легкой и пустой.»

Какой издатель отважится напечатать сочинения, если вся Вена будет показывать на него пальцем: глухой! Глухой! А еще дерзает сочинять!

Что остается? Медленное умирание? А может быть, лучше ускорить его?»

Он вскочил, в отчаянии погрузив пальцы в густые

пряди своих волос. Глаза его загорелись огнем безумия. Дунай совсем рядом! Туда — и конец всему! Зачем жить, если солнце зашло и уже не взойдет? Умерла любовь, умирает и музыка...

День за днем он вел борьбу с самим собой, спрашивал у пианино: «Музыкант ли я еще? Живу ли я еще?» Терпеливо испытывал себя: «Слышу ли я этот тон? А что, если я ударю по клавише тише — пианиссимо?»

Низкие тоны слышались прекрасно. Высокие ускользали! Но, к удивлению, только для ушей — не для памяти. Стоило взглянуть на какую-нибудь клавишу — и внутренний слух точно оглашал ее звук.

Это слабо утешало. Но достаточно было хотя бы на минуту отогнать призрак смерти. Вспомнил, что где-то читал:

«Человек не имеет права по собственной воле расстаться с жизнью, пока еще способен сделать хотя бы одно доброе дело!»

Доброе дело? Он делал их сотни, без раздумья.

«И глухой я смогу помогать людям. И не только деньгами. Моя музыка должна быть такой, чтобы самый несчастный человек, слушая ее, забывал о своей боли. Зачем призывать смерть раньше, чем она явится сама?»

Он говорил это себе, но предчувствие близкого конца не покидало его.

Поздним октябрьским вечером он все же сел за стол, чтобы написать свое завещание. За окном уже рассветало, когда Бетховен закончил его.

«Моим братьям... прочесть и исполнить после моей смерти.

О люди, считающие или называющие меня неприятным, упрямым, мизантропом, как несправедливы вы ко мне! Вы не знаете тайной причины того, что вам мнится. Мое сердце и разум с детства склонны были к нежному чувству доброты. Я готов был даже на подвиги. Но подумайте только: шесть лет, как я страдаю неизлечимой болезнью, ухудшаемой лечением несведущих вра-

чей. С каждым годом все больше теряю надежду на выздоровление, я стою перед длительной болезнью (излечение которой возьмет годы или, должно быть, совершенно невозможно). От рождения будучи пылкого, живого темперамента, склонный к общественным развлечениям, я рано должен был обособляться, вести замкнутую жизнь. Если временами я хотел всем этим пренебречь, о как жестоко, с какой удвоенной силой напоминал мне о горькой действительности мой поврежденный слух! И все-таки у меня неоставало духу сказать людям: говорите громче, кричите, ведь я глух. Ах, как мог я дать заметить слабость того чувства, которое должно быть у меня совершеннее, чем у других, чувства, высшей степенью совершенства которого я обладал, — как им обладают и обладали лишь немногие представители моей профессии. О, этого сделать я не в силах. Простите поэтому, если я, на ваш взгляд, сторонюсь вас вместо того, чтобы сблизиться, как бы мне того хотелось. Мое несчастье для меня вдвойне мучительно потому, что мне приходится скрывать его. Для меня нет отдыха в человеческом обществе, нет интимной беседы, нет взаимных излиятий. Я почти совсем одинок и могу появляться в обществе только в случаях крайней необходимости. Я должен жить изгнанником. Когда же я бываю в обществе, то меня кидает в жар от страха, что мое состояние обнаружится...

...Такие случаи доводили меня до отчаяния, еще немного, и я покончил бы с собою. Меня удержало только одно — искусство. Ах, мне казалось невыносимым покинуть свет раньше, чем я исполню все, к чему я чувствовал себя призванным. И я влчил это жалкое существование, поистине жалкое для меня, существа чувствительного настолько, что малейшая неожиданность могла изменить мое настроение из лучшего в самое худшее! Терпение — так зовется то, что должно стать моим руководителем. У меня оно есть... О люди, если вы когда-нибудь это прочтете, то вспомните, что вы были ко мне несправедливы; несчастный же пусть утешится, видя собрата

по несчастью, который, несмотря на все противодействие природы, сделал все, что было в его власти, чтобы стать в ряды достойных артистов и людей.

...Итак, пусть свершится. С радостью спешу я навстречу смерти. Если она придет раньше, чем мне удастся развить все мои артистические способности, она явится слишком рано; я бы желал, несмотря на жестокую судьбу свою, чтобы она пришла позднее. Впрочем, и тогда я был бы рад ей: разве не освободит она меня от бесконечных страданий? Приходи, когда хочешь: я мужественно встречу тебя. Прощайте и не забывайте меня совсем после смерти. Это я заслужил перед вами, так как при жизни часто думал о том, чтобы сделать вас счастливыми. Будьте же счастливы.

Гейлигенштадт, 6 октября 1802 года.

Людвиг ван Бетховен».

Завещание было окончено. Дальнейшая жизнь в Гейлигенштадте не имела смысла. Он уложил свои вещи. Приготовился к отъезду. Простился с местами утраченных надежд несколькими фразами, приписанными в конце своего завещания. Снова порвалась мечта хотя бы об одном-единственном счастливом дне.

Гейлигенштадт, 10 октября 1802 года

Итак, прощаюсь с тобой в печали. Потому, что вынужден расстаться с надеждой, которую принес сюда с собой, на то, что, может быть, хоть немного улучшится слух.

Как сознут и отрываются осенние листья, так оторвалась от меня и она. Я уезжаю отсюда почти таким, каким приехал. Даже высокое мужество, часто вдохновлявшее меня в прекрасные летние дни, угасло.

О провидение! Дай мне хотя бы один час чистой радости!

...Неужели никогда? Нет, это было бы слишком жестоко!



етховен не выходил из квартиры на Петровской площади и, совершенно подавленный, думал о своем будущем. Рис не сохранил в секрете то, что стало ему известно. Это ясно.

Первый музыкант столицы лишился слуха. Вся Вена знает, что Бетховен не существует больше.

Воздух в комнате затхлый — полгода окна не открывались. Вещи, вернувшиеся сюда вместе с хозяином, так и лежат с тех пор неразобранными на стульях, столах, на фортепьяно и просто на полу. Бетховен никому не открывает дверей. Бесплезно было стучать к нему. Он не впускает даже прислугу.

В сумерки он выскальзывает из дома и поспешно устремляется в предместье, где вряд ли встретишь кого-нибудь из знакомых. На улице пасмурно и неприветливо. Смертная тоска давит город. Солнце на небосводе закрыто туманной пеленой, сырой ветер сотрясает голые ветви деревьев, обдирая с них последние листья.

Время осени — время угасания.

Композитор каждый день обходит город вдоль крепостной стены. Что еще остается поверженному великану, как не вдыхать пыль на этой окраине жизни? И возвращается домой, когда на улицах становится темно.

И вот в один из таких вечеров, безрадостный и серый, неожиданно воскресла новая надежда. Когда понурый пешеход приближался к дому, надвинув шляпу на лоб и опустив голову, его догнали одноконные дрожки. Внезапно они остановились. Полный мужчина в сером пальто проворно соскочил и бросился навстречу композитору. Издалека он протянул ему свою правую руку и, разма-

живая левой, в которой держал шляпу, с пафосом тараторил так, что прохожие оглядывались:

— Приветствую вас, маэстро! Вы здоровы? И уже дома? Вся Вена ждет вас! И больше всех я. Не могу дожидаться! Вы должны спасти нас!

Мрачный взгляд не остановил торопливой речи Иоганна Эммануэля Шиканедера — актера, сочинителя комедий, автора либретто оперы Моцарта «Волшебная флейта» и, разумеется, в первую очередь ловкого директора театра.

Он был одарен одинаково как в области искусств, так и в области коммерции. Но делец преобладал в нем над художником. И Бетховен не любил его. Он вспомнил ходившие в Вене толки, что Шиканедер бессовестно обогатился за счет оперы Моцарта, выплачивая композитору весьма скромные суммы.

— Вы нуждаетесь во мне? Вы?

— Да, и не только я, а все наше искусство! Вена жаждет новой оперы. Вы знаете, искусство Сальери и других итальянцев уже не удовлетворяет. Мы хотим чего-то сильного, чего-то ослепляющего, чего-то такого, что мир еще не слышал. И это можете создать только вы!

«Заврался», — думал Бетховен, мрачно уставившись на велеречивого Шиканедера.

— Садитесь ко мне! — пригласил его в коляску директор театра. — Конечно, такому художнику, как вы, не пристало ездить в подобной тележке, но мы в ней сможем потолковать не хуже, чем в императорском экипаже. — Театральным жестом он обнял композитора за плечи, увлекая к своей коляске. И, пока он говорил без устали, мысли композитора были о другом.

— Этот балаболка явно преувеличивает. Но про новую оперу он не сам, конечно, придумал. Он советовался об этом с уймой других, более серьезных людей. И так, Вена ждет меня, хотя известно, что мои способности сейчас находятся на грани гибели.

И так как было свойственно Бетховену все восприни-

мать страстно, надежда и на этот раз охватила его с невиданной силой. Он давно мечтал, чтобы театр поручил ему создать оперу. И что же? Это предложение сделано ему тогда, когда несчастье чуть не убило в нем веру в себя!

Людвиг ван Бетховен чувствовал, что он опять, несмотря ни на что, станет тем, кем был раньше, — борцом, который не отступает, не складывает оружие.

Однако окончательного ответа Бетховен не дал. Да, что касается оперы, он попробует, на свободную квартиру при театре придет взглянуть как можно скорее, а там будет видно. Там будет видно! Теперь он пишет сочинение в честь самого талантливого защитника молодой республики — Наполеона Бонапарта. Он все больше восхищался этим мужем, который отважился взять судьбу за горло! Наполеон побеждал на полях сражений там, где другие терпели поражения. Так же должен и так победит Людвиг ван Бетховен!

Воскресная сила стремилась воплотиться в музыке. Бетховен начал писать свою Третью симфонию.

Думал ли он, что открывает ею новую эпоху в симфонической музыке? До сего времени музыка симфоний чаще всего бывала гладкой, развлекательной, не содержащей глубоких мыслей. Бетховен вкладывал в свое новое творение совершенно определенное содержание — это борьба за счастье, сражение человека против судьбы.

Композитор создает музыку высочайшего мужества, изображая в ней борьбу могущественного героя за свободу и его гибель.

С чем сравнить это его творение? С прекрасным полотном, на котором художник изобразил могучего героя?

Но сочинение Бетховена — это больше, чем живописное полотно! В нем нет движения, а бетховенская симфония им полна!

Но, может быть, сравнить ее с театральным спектаклем? Нет! Она неизмеримо шире. В театре зритель видит только кусок жизни и всего лишь горстку людей — тех,

что способна уместить сцена. А в героическом сочинении, создаваемом сейчас Бетховеном, за героем идут массы. Весь народ поднимается на отважный бой.

В этом бою он несет утраты, сраженный герой падает, и траурный марш провожает его.

Человек может погибнуть. Но не это главная мысль сочинения. В оркестре звучат новые голоса. Молодость вторгается на историческую арену и подхватывает знамя из рук павших героев. На смену горечи утраты приходит решимость.

В завершающей части симфонии слышится победа. Торжествующий зов рисует нам безграничную радость победившего народа. Будто шагает войско под сенью знамен, и вслед за ним народные массы. Вот прибегают дети. Ликование все возрастает. Суровый бой был не напрасен. Радость вернулась в мир.

Все это скажет «Героическая» симфония каждой впечатлительной душе...

Только весной 1804 года был завершён великий труд. На столе Бетховена лежала толстая связка потной бумаги, и на верхнем листе виднелась надпись, состоящая лишь из двух имен:

**BUONAPARTE.**

**Luidgi van Beethoven.**

Первым ее увидел Рис и с любопытством спросил:

— Так уже готово, маэстро? А вы в самом деле отважитесь поставить в посвящении имя человека, который является злейшим врагом нашего императора?

— Меня не интересуют ни друзья императора, ни его враги. Для меня важно лишь то, что Бонапарт является защитником свободы. Кто сумел защитить революцию, когда казалось уже, что она погибает?

Композитор всегда говорил о своем любимце страстно. Говорят, что Наполеон Бонапарт стал первым кон-

сулом, дабы восстановить в стране, ослабленной войной, спокойствие и порядок. Бетховен часто сравнивал его с великими консулами Древнего Рима — мужами храбрости и преданными своей родине.

Он еще не догадывался, что в деятельности Наполеона произошли серьезные перемены. И первые вести об этом, по обыкновению, принес Рис. Вскоре после того как Бетховен завершил свое сочинение, юноша объявил:

— Вы кончили свою бонапартовскую симфонию, маэстро, а ваш герой кончил со своей консульской славой!

Бетховен с ужасом посмотрел на него.

— Неужели он убит?

Рис только махнул рукой.

— Он сам покончил со своей славой. Решил провозгласить себя французским императором!

Бетховен вскочил.

— Императором? — проговорил он недоверчиво. — Бонапарт — императором? Это означало бы конец республики!

Рис в замешательстве развел руками.

— Пришли такие сообщения. В Париже уже властвует не консул Бонапарт, а его величество Наполеон Первый!

Бетховен опеменел. На лбу его вздулась крупная вена. Такое уже было знакомо ученику: это всегда было знаком величайшего волнения.

— Если это правда, он предал республику! — вскричал Бетховен, и его пальцы судорожно сжались.

— Говорят, что это так, — опасливо подтвердил Рис и медленно отступил к дверям. Ему казалось, что разгневанный маэстро может броситься на него, вестника дурных новостей. — В городе только об этом и говорят. Наверное, завтра об этом сообщат газеты.

Нахмуренное чело композитора отразило бурю, бушевавшую в его душе. Сколько раз повторял он, что республиканская Франция — это залог свободы в Европе, а Бонапарт хранитель этой свободы!

Потрясая кулаком, он вдруг воскликнул, и голос его был полон презрения:

— И этот — обыкновенный человек! Теперь он будет топтать ногами все человеческие права, следовать только своему честолюбию, будет ставить себя выше всех других и сделает тираном! — Он быстро подошел к столу, на котором лежала симфония с надписью «*Viopararte*», вырвал заглавный лист, одним движением сильной руки разорвал его сверху донизу и бросил на пол.

Испуганный юноша смотрел на это, стоя в полуоткрытых дверях. Ему казалось, что его учитель лишился рассудка.

А Бетховен мерил комнату большими шагами, сопровождая их неразборчивым бормотанием. Рис уловил лишь отдельные слова:

— Император, он император!.. Мерзавец, изменник!..

Вдруг он остановился, о чем-то глубоко задумавшись. Потом подошел к столу и опять взял в руки рукопись.

У Риса мороз по коже пробежал. Спокойствие, наступившее после вспышки, пугало его не меньше, чем недавний гнев. Не думает ли он разорвать на куски все свое сочинение, как разорвал уже титульный лист? Он приготовился спасать сочинение от самого создателя. Может быть, вырвать у него из рук ноты — и к двери? А Бетховен, когда опомнится, еще будет благодарить!

Однако композитор опять положил ноты на стол, обмакнул перо и что-то написал крупными буквами. Рис подошел ближе, вглядываясь в буквы, появившиеся из-под пера.

Бетховен нарек свое детище по-новому. Удивленный ученик прочитал:

«Геронческая симфония, сочиненная в память Великого Человека».

Казалось, что композитор был доволен сделанным. Он повернулся к юноше:

— Ну, Рис, все как надлежит?

— Да, маэстро! — кивнул изумленный юноша, и у

него вырвался вопрос: — Но кто этот Великий Человек?

— Это любой, кто боролся и погиб за то, чтобы завтрашний день был свободнее и счастливее, чем сегодня. Человеку свобода нужна, как воздух. Вы знаете, как я люблю независимую жизнь. Свобода и прогресс — единственная цель в искусстве, так же как и во всякой другой творческой деятельности. Великий Человек не может делать ничего иного, как бороться за это своими произведениями!

— Прекрасное название! «Героическая» симфония! Симфония его!са, — с удовольствием повторял ученик.

— Из всех моих сочинений это самое любимое. Таким и останется навсегда, — задумчиво произнес Бетховен, листая ноты «Героической».

Название это осталось навсегда, как навсегда Третья симфония осталась любимой композитором, созданная им тогда, когда он, дрогнувший на какое-то время, вновь обрел мужество.

Однако вступление этой симфонии в мир не было легким. Как могли понять мятежное произведение люди, которые боялись революции больше, чем чумы?

Непонимание не особенно огорчило его. Он утешал себя: исполню симфонию в публичном концерте. Народ поймет ее обязательно, ведь он и есть ее главный герой.

Махнув рукой на временную неудачу, он ринулся в новую работу. Ничто не могло удержать его теперь, когда он понял, что потеря слуха еще не значит, что жизнь кончилась.

Вышла замуж Джульетта и уехала в Неаполь. Пережил ли он это событие как катастрофу? Нет.

Обманула и надежда вылечить слух сельской тишиной. Опустил ли он руки в отчаянии? Только на мгновение.

Вулкан таил в себе много огня. И если он начинал действовать, то с огромной внутренней силой, которая должна была вылиться в новые произведения. Завершив «Героическую» симфонию, Бетховен создал две фортепьян-

ные сонаты, поразившие всех новой, неожиданной красотой.

Одну — ясную, как летнее утро в полях, — все называли «Авророй». Вторая — мрачная, полная молний и нечеловеческой борьбы против судьбы. Ее назвали точно — «Аппассионата» — «Страстная».

Почти одновременно он пишет концерт для фортепьяно, скрипки и виолончели. И сразу же приступает к работе над оперой, названной позднее «Фиделио».

Но и это еще не все. Этот же период подарил миру сонату для скрипки и фортепьяно. В будущем она будет называться «Крейцеровой сонатой» — композитор посвятил ее скромному скрипачу, приехавшему в Вену вместе с первым французским посольством.

Три года прошло с того мрачного вечера, когда доведенный до отчаяния Бетховен написал в Гейлигенштадте свое прощальное письмо. И за эти годы он доказал, что художник, лишившийся слуха, не сделался немым. Он принес миру творения такой красоты и силы, равных которым еще не создавал никто.

Казалось, он так решительно замкнулся в своем недоступном ни для кого царстве звуков, что никакая боль не в состоянии тронуть его. Но знавшие его чувствовали, что сердце его вечно оставалось полем боя.

Тем временем слух неумолимо ослабевал. Происходило это постепенно, и композитор еще мог играть роль рассеянного, но вечно притворство тяготило его.

Он снова и снова поверяет свое горе роялю. Тот никогда не обманывает его. Не делает вид, что глухой на самом деле не глух. Он говорит ему ужасающую правду. Количество тонов, доступных его слуху, все уменьшается. Высоких он уже не слышит, низкие еще доступны ему, да и то требуется сильный удар по клавишам.

Но придет день, когда не помогут уже и сильные удары пальцев. Это будет смертный день Людвига ван Бетховена — музыканта.

Таков лик дьявола, травившего страдальца днем и

ночью! Бетховен — этот поразительный сплав силы и отваги — готов был согнуться!

Его снедает подозрительность, свойственная каждому, утратившему слух. Ему постоянно кажется, что люди говорят о нем насмешливо и недружелюбно, даром что это близкие ему люди. Они смеются, а он не знает почему. Говорят с печалью, но о чем?

Душа глухого мечется в потемках, и ей всюду мерещатся чудовища.

...А жизнь между тем посылала ему все новые испытания. Сколько надежд питал он на публичное исполнение «Героической» симфонии. И какое разочарование постигло его!

В апреле 1805 года на утреннем концерте в новом музыкальном зале прозвучала «Героическая» симфония — это было ее первое публичное исполнение. Публика разделилась на три части. Самую маленькую составляли друзья Бетховена, горячо рукоплескавшие. Другая часть колебалась и не могла прийти к мнению, хорошо это или плохо.

Большая часть слушателей была не удовлетворена: разве это музыка? Это невыносимо длинная и грубая симфония! Если бы все инструменты не грохотали так, что стены того и гляди могли рухнуть, можно было бы уснуть.

— Дам крейцер, чтобы все это прекратилось! — раздался в мучительной тишине чей-то голос с галерки.

В зале рассмеялись. Значит, они довольны выходкой?

И Бетховен это слышал — он стоял в эту минуту перед оркестром с дирижерской палочкой в руке, готовый приступить к исполнению второй части.

Там наверху, на дешевых местах, сидел венский люд. И никого из них не воодушевили звуки песни, которая славила революцию!

Он уходил домой с опущенной головой.

Что же это такое? Человек из народа обещает крейцер, чтобы скверная музыка наконец умолкла!

Нет, мой слушатель с галерки, этого несчастного крейцера не потребуется! Природа позаботилась об этом. Глухота отбросит его от музыки. До каких пор судьба будет играть с ним, как кошка с пойманной мышью? То обещать ему жизнь, то грозить смертью... Ах, если бы была у него близкая душа, которая делила бы с ним радость и горе!

...Он поднялся, достал свой дневник. Кроме фортепьяно, у него был еще один друг. Неодушевленный и потому неизменно верный. Бетховен всегда обращался к дневнику, когда его сердце нуждалось в ком-нибудь, кому можно было излить душу до конца.

Он обмакнул перо и написал слова, дышащие горечью:

«Только любовь — да, только она может сделать мою жизнь счастливой. Боже, помоги мне! Сделай так, чтобы я наконец нашел ту, которая сделает меня счастливым и будет моей навсегда!»



аже если бы весь мир погрузился в страдания и войны, был один уголок на белом свете, где можно было найти покой. Он был известен Бетховену. Коромпа — разве само это слово не звучит как призыв перепелов, слышных в тихих полях?

Бетховен побывал там уже не раз. Он не любил удалиться от своей городской квартиры, но ведь от Вены всего два шага до Пресбурга\*, а из Пресбурга так легко можно добраться до Коромпы. Правда, неко-

\* Пресбург — так пазывалась столица пышнейшей Словакии — Братислава.

торое время Бетховен избегал этих мест — здесь раздавался некогда нежный голос Джульетты, но он пережил свою утрату и теперь иногда снова навещал степное поместье.

Он укрылся там весной 1806 года от туч, затянувших небо над Веной. Многие случилось за эти десять месяцев под крышами веселого города на Дунае!

В середине лета император Франц затеял новую войну против Франции. За последние десять лет это была уже четвертая война. Паяц, сидящий на троне, сам предсказал свою судьбу: «Это будет разгром!»

Он предугадал правильно. Суровую трепку он получил раньше, чем предполагал. Наполеон стремительно вторгся в немецкие земли. Потом повернул к Вене и занял ее. Преследовал отступающую австрийскую армию вплоть до Моравии и в начале декабря 1805 года разгромил русско-австрийскую армию у Аустерлица.

Для Бетховена этот роковой год был не менее тяжелым, чем для всей Австрии. И его преследовали поражения одно за другим. Провал «Героической» симфонии во время первого публичного исполнения был только предлюдией к более горькому разочарованию, постигнутому его в ноябре.

Венский театр увидел наконец представление оперы «Фиделио». Она создавалась долго и трудно, но провалилась сразу и окончательно.

Время для постановки было как нельзя более неподходящим. Вена наводнили войска Наполеона, мало кто из коренных венцев отважился ходить в театр. Богатая венская знать выехала в свои имения, а горожане предпочитали сидеть по домам. В зале сидели преимущественно французы, а на второе и третье представления и тех почти не осталось. Зал был полупустым. Никого не влекло на «Фиделио».

Должно было пройти несколько десятилетий, прежде

чем смогли оценить и понять эту музыку. Она казалась тогда слишком необычной и такой грубой в сравнении с италийскими операми!

В эти горькие дни приходили милые письма от Франца Брунсвика, старого друга из Коромпы:

«Пусть Вена остается для французов и дураков! Приезжай к нам! Ты будешь жить здесь так, будто Вены и на свете нет!»

После провала нового варианта «Фиделио» Бетховен покинул Вену. В его багаже лежал клавир сонаты, которую из всех своих фортепьянных сочинений он любил больше всего, сонаты, известной миру под названием «Аппассионаты».

Никому еще не позволял играть ее. Ни для кого еще не играл сам. День, когда она прозвучит впервые, должен быть не таким, как все. А тот, кто впервые донесет до постороннего слуха ее аккорды, не должен быть равнодушным.

В усадьбе он нашел все таким же, как прежде. Сражения не повредили ни одной ветви в парке. В гостиной ему показали уголок, называвшийся бетховенским. Показали фортепьяно, оно считалось бетховенским. В саду уцелела липа, носившая его имя.

Вещи оставались на прежних местах, но обитателей дома судьба развела в разные стороны. Не сверкали здесь уже очи неверной Джульетты, не звенел смех сестер Жозефины и Шарлотты. В большом доме жили вместе с матерью лишь Франц и старшая из сестер Тереза. Франц по настоянию матери теперь все больше времени отдавал хозяйству. Из их молодой «республики» теперь его сопровождала по садовым аллеям только Тереза.

Однажды, когда они шли вдвоем под деревьями, едва покрывшимися зеленью, Бетховен сказал своей спутнице:

— Я рад, что нашел здесь хотя бы одну близкую душу.

— «Нашел»? — с упреком переспросила она. — На-

ходят то, чего не знали раньше. Эта близкая душа была здесь всегда. Однако вы ее забыли.

Голос у нее был мягкий, музыкальный. Он взглянул на нее. Ему показалось, что он в самом деле видит ее в первый раз. Неужели она всегда была такой? Чистые, благородные черты лица, глаза, полные огня, но при этом мечтательные, задумчивые, нежный и выразительный рот.

Почти каждый вечер завершался музицированием в тесном домашнем кругу. Изредка появлялся кто-нибудь из соседей.

Бетховен играл, не дожидаясь просьб. Он чувствовал себя у Брунсовиков как дома. Никто не давал ему почувствовать неравенство их происхождения. На правах старых университетских друзей они были на «ты» с Францем. Его сестра была для Бетховена просто Терезой.

Он приносил с собой свертки нот, проигрывал отрывки из «Геронической» и из злополучной оперы «Фиделио». Нескольким раз в груди нот оказывалась «Аппассионата». Но ни разу композитор не сыграл из нее ни одного такта.

Ему хотелось бы сыграть «Аппассионату» для той единственной души! Да, только так! И снова он уносил клавир в свою комнату. И все же однажды забыл его на рояле. А обнаружил это на другое утро, и самым удивительным образом!

Он возвращался с прогулки из лугов, покрытых росой. Подойдя к своей комнате, Бетховен остановился пораженный: его соната, которую он так тщательно таил от света, приглушенно доносилась из гостиной.

Или он ошибается? Может быть, это звуковой мираж? Может быть, его мозг переутомлен? Он прислонился к стене и слушал.

Нет! Кто-то действительно играл его «Аппассионату», ее первую часть, в которой мечется Душа, и Зло нападает на человека, а тот взывает о помощи, предчувствуя печальный конец.

Кто посмел прочесть его исповедь?! Он без стука открыл дверь. За роялем, спиной к двери, сидела Тереза. Она отрешилась от всего и ничего не слышала вокруг себя.

— Тереза! — позвал он, в этом возгласе слышались и удивление и гнев.

Она испуганно вскрикнула, повернулась к нему и поднялась со стула, ее лицо залилось краской.

— Простите, ведь ноты лежали здесь! — Она опустилась на стул, почти упала на него, закрыв лицо руками. — Это так удивительно, Людвиг, и это... так прекрасно. Почему вы никогда не играли ее нам?

Он молчал некоторое время, потом сказал:

— Есть вещи, которыми человек до поры до времени не делится ни с кем.

Она прикусила губу.

— Вы очень страдали!

— Все, что хочет выжить под небесами, вынуждено бороться против рока — трава, человек, все человечество. Но мало кому приходится вести столь тяжкую борьбу, как мне.

— Я знаю, — ответила она. — Но Бетховен не может проиграть бой.

— Не может? — горько переспросил он. — А если у него связаны руки? Если он осужден на ужасную кару — глухоту?

— Людвиги! — проговорила вдруг она. — Я отдала бы свою жизнь, чтобы освободить вас от вашей беды. — Тереза в первый раз назвала его этим именем, раньше она позволяла себе это только в своих думах.

— Иногда легче умереть, чем жить, — сказал он глухо. При этих словах он быстро нагнулся и поцеловал ее руки — одну и другую. — Но я не стою того, чтобы за меня умирал кто-нибудь. За человека, чей талант не признал? За такого грубияна, за неудачника?

— Людвиги, но вы должны чувствовать, что... — Она

загнулась, охваченная нежностью. — Не вынуждайте меня, чтобы я сказала вам...

Он смотрел на нее смущенно, не понимая. Потом сказал сдержанно:

— Эту сонату я еще не давал играть никому. И никому не играл сам. Ждал, что придет человек — единственный из миллионов... — Он помолчал и горячо добавил: — Тереза, хотите, чтобы я сыграл ее вам?

Она покраснела и отошла от рояля:

— Очень прошу вас!

— Я буду продолжать оттуда, где вы кончили, — сказал он, усаживаясь.

И вот струны рояля запели баюкающее анданте. Это мечта о счастье, мольба и благодарность. Голос благожелательной судьбы обещал блаженный покой. Но в заключительной части снова возникли враждебные силы. Погибнет ли человек в разбушевавшихся волнах? А может быть, в конце концов его могучий дух победит? Этот вопрос должен разрешить сам слушатель — в меру своих сил и отваги.

Тереза поднялась с кресла, потрясенная и гордая тем, что именно она стала первой слушательницей этой удивительной сонаты.

— Благодарю вас! Я растрогана так, что не нахожу слов. Но чем я заслужила честь первой услышать эту волшебную музыку?

— Чем? — улыбнулся Бетховен. — Всем, что в вас есть хорошего. А у вас его столько, что вы заслуживаете большего, чем прослушать первой мое сочинение. Когда я отдам печатать сонату, на ней будет ваше имя. Я посвящаю ее вам!

— Но чем же я отблагодарю вас? Скажите мне, что я могу сделать для вас?

Он ненадолго задумался, и его глаза сказали ей то, чему она боялась поверить.

— Позвольте мне сказать это сегодня вечером!

Пришел вечер, такой, будто его придумал поэт. Влаж-

ный майский ветер донес в комнаты запах цветущих лип, над черными кронами деревьев плыла луна — круглая, золотая. Небольшое общество сидело в музыкальной гостиной, единственная свеча горела на открытом рояле. В уголках комнаты был таинственный полумрак. Лунный свет лился в окна.

Бетховен сел к роялю, и его взгляд нашел Терезу. Он смотрел на ее лицо, и оно показалось ему удивительно бледным. Темнели ее большие умные глаза. К нему был обращен их вопросительный взгляд. В креслах сидели привычные слушатели — хозяйка дома, молчаливый Франц.

Рояль заговорил нежно и робко, будто боялся нарушить счастливую тишину. Мелодия лилась легко, неуверенная и приглушенная. Но вот она стала расти, усиливаться, и постепенно возникал мотив, уже знакомый Терезе. Певучее анданте из таинственной сонаты, полное человеческого тепла, в котором не было места злу, шептало о надежде.

Девушка дрожала от волнения. Вот теперь, сейчас грянет вдруг буря и унесет все, что дорого человеку...

Но сурового нападения темной силы не было. Неожиданно для нее анданте постепенно перешло в аккорды в басах. Эти дивные звуки, которых раньше в сонате не было, рассказывали о появлении чего-то важного, торжественного. Постепенно они стихли, стали доверительными, и Тереза узнала в них «Арию», давно знакомую «Арию» Иоганна Себастьяна Баха:

«Если хочешь отдать мне сердце свое, пусть это будет нашей тайной, чтобы мысли наши ни одна душа не могла ни узнать, ни разгадать».

Сердце Терезы забилося в смятении. Ведь это же признание в любви! Испуганно оглядела она комнату. Понимают ли и остальные? Кажется, нет! Брат сидел погруженный в свои мысли, мать и старый духовник задремали.

Взволнованный мужественный напев зазвучал опять,

но теперь едва слышно: «Если хочешь отдать мне сердце свое...»

На другой день они встретились в парке. Композитор сказал, глядя вдаль:

— Я уже работал сегодня и никогда еще не чувствовал себя на таких вершинах. Все вокруг меня и во мне свет, чистота, ясность. До сих пор я был похож на ребенка из сказки, собирающего на дороге камешки и не видящего великолепного цветка, расцветшего рядом.

Они долго гуляли в саду и наконец поведали липам на площадке «республики», что решили связать свою судьбу навеки.

После стольких тяжелых сражений, после множества разочарований Бетховен почувствовал дуновение радости. Наконец он нашел ту, о которой просил судьбу! А счастье рождает решимость бороться со всеми невзгодами, посланными ему судьбой. В тот день он записал в своем дневнике:

«Твоя глухота теперь уже ни для кого не тайна — и в музыке тоже! Если Тереза знает о несчастье и ее не пугает будущее, что мне до остального?»

Но как после спокойного ожидания в «Аппассionate» возникают мрачные аккорды, так и в его душе зародились темные предчувствия. Если их деревья оставались безмолвными при обручении, что скажут люди, и в первую очередь ее мать? Скорее всего ее отношение будет неодобрительным.

После нескольких дней размышления Тереза решила:

— Помочь нам может только брат. Он любит тебя, и, возможно, ему удастся уговорить маму!

Франц не был слишком удивлен. Может быть, он понял тихую песню в тот майский вечер? Он сердечно пожал руку старому другу и поцеловал Терезу.

— Вы два лучших человека, которых я знаю! Какая бы это могла быть прекрасная жизнь! — произнес он горячо, что было совсем непохоже на него, «ледяного

рыцаря». Потом лицо его стало озабоченным, и он задумчиво взглянул на сестру: — Ты не могла бы, Тереза, оставить нас наедине?

Когда сестра вышла, Франц некоторое время вертел в руках бронзовую фигурку Амура, взятую с маленького столика. Он явно взвешивал каждое слово.

— Я очень рад, Людвиг, что ты и Тереза... — начал он неуверенно. — Но я должен предупредить тебя, что будут трудности.

— Я знаю, друг! Ведь я не знатного происхождения! — с горечью сказал композитор.

Брунsvик пожал плечами и пробормотал:

— Это все предрассудки! Глупость человеческая! Я на такие вещи смотрю просто, но мать, сестры...

— Тереза только на пять лет моложе меня. Может быть, ей уже можно позволить решать самой? И мне нужна только она. Никакого имущества, никаких денег...

— Да, конечно, — печально кивнул головой Франц. — Но ты не представляешь себе, как сильна любовь моих сестер друг к другу. Тереза никогда не отважится на разрыв с семьей.

— Достаточно, Франц! Ты хочешь сказать, как я понимаю, что Тереза не для меня!

— Да нет, — возразил Франц. — Я хочу только сказать, что понадобится немало времени, чтобы подготовить родственников...

Решительный голос снова прервал запинаящуюся речь молодого графа:

— Сообщи тогда своим почтенным родственникам, что человек по имени Бетховен осмелился претендовать на руку твоей сестры. И растолкуй им, что его имя значит больше, чем знатное происхождение. Я подожду вашего решения. Подожду из любви к Терезе! Но не здесь! Могу ли я просить тебя одолжить мне экипаж до Пресбурга завтра утром?

Огорчение отразилось на лице уравновешенного Франца.

— Людвиг, ты не можешь уехать так неожиданно!

— Тереза поймет, что я не могу дожидаться здесь у дверей, как нищий. Нашу любовь не сломит ни время, ни расстояние. Ты тоже убедишься в этом. А до остальных нам нет дела! Я буду тебе очень признателен, если ты поможешь мне уехать отсюда завтра как можно раньше!

В середине следующего дня он уже был в Пресбурге. Отпустив кучера, Бетховен задумался: что же делать дальше? Возвращаться в Вену?

Ну нет! Чтобы на каждом шагу наталкиваться на какого-нибудь пажа его величества Наполеона Первого?

Так прочь отсюда!

Вдали его манило убежище, такое же спокойное, каким некогда была для него Коромпа. Князь Лихновский заблаговременно укрылся с семьей подальше от полей сражений — в Градце близ Опавы. Он много раз приглашал Бетховена приехать туда.

Сейчас композитор решил принять это приглашение и отправился на почтовых вдоль Моравы на север, через Ольмюц\*, в Силезию.

На спутников, которые постоянно менялись в почтовых каретах, он не обращал особого внимания. Мрачный и молчаливый, он боролся в душе сам с собой. Два голоса спорили друг с другом. Один был радостный и обещал счастливое будущее. Другой был горьким и сомневающимся. Радость и горечь сомнения попеременно охватывали его.

У тебя теперь есть то, что ты давно уже так жаждал. Любовь большой души, близкой тебе, любовь женщины доброй, нежной и преданной. Разве не призналась она,

\* Ольмюц — нынешний Оломоуц, город в Чехословакии.

что думала о тебе много лет? Разве не доверялась она «твоему» дереву, когда ты гонялся за иными призраками?

Безумный! Против тебя ополчится вся семья! Мать, сестры, дяди, тети и двоюродные братья — все восстанут против тебя! Разве могут они отдать графскую дочь человеку простой крови. Чтобы она превратилась в обыкновенную Терезу Бетховен!

Не верь знати, Бетховен! Не верь! Она предаст тебя! Мало кто из них относится к тебе как к равному, и кто знает, когда в любом из них пробудится голос предков. И вместо друга однажды перед тобой возникнет господин, который видит в тебе слугу.

Если в душе Бетховена была такая горечь, немудрено, что на французских офицеров он поглядывал отнюдь не ласково.

Их послал сюда Наполеон. Изменник!

Ему уже мало самому быть императором, он теперь родственников своих женит и отдает замуж только в королевские семьи. Хочет кровными узами породниться с остальными тиранами!

Измену Наполеона он пережил так тяжело, что не стал вводить мелодию «Марсельезы» в свои сочинения. Сейчас он рассчитывал, что уже не увидит на моравской земле ни одного французского вояки. Однако и здесь встречался с ними на каждом шагу. Ольмюц буквально кишел чужестранцами.

А будет ли их меньше в Опаве? В соседней Пруссии еще идет война, и в этих местах разместились резервы.

Скорее бы уж очутиться у Лихновского! Он знал, что Градец расположен в добрых двух часах езды от силезской столицы — Ольмюца. Уж там-то, среди полей и лесов, он найдет отдых от горьких дум и от французов. Лихновский манил его в письмах:

*«Если хотите спрятаться от света, приезжайте в Градец! Здесь есть парк, в котором вы исчезнете, как в озере. В нем есть такие уголки, где вас не найдет никто —*

*разве только дух королевы Кунигунды, которая некогда обитала здесь».*

Когда Бетховен подъезжал к замку, его ожидала встреча, поразившая куда сильнее, чем если бы появилась сама королева Кунигунда. По извилистой тропинке косогора ехало пятеро всадников. Сразу за холмом они повернули вправо и поскакали в луга, но в этой мимолетной встрече было достаточно, чтобы лицо Бетховена, едва прояснившись, омрачилось: опять французы!

Пожимая руку Лихновского, он первым делом спросил.

— И у вас французские солдаты?

— В замке нет, а в окрестностях стоят.

— Надеюсь, хотя бы к себе вы их не приглашаете?

— Что поделаешь, — пожал плечами Лихновский. —

Они — победители, мы — побежденные!

— Именно потому я и не открыл бы им дверей!

Лихновский безнадежно махнул рукой.

— Но они могли бы принести мне много вреда. Впрочем, их офицеры образованные люди и любители музыки. Им знакомо ваше имя. Если они узнают, что вы здесь, они появятся в надежде познакомиться с вами.

— Упаси бог, — проворчал Бетховен.

...Готовился знатный обед — съедутся дворяне из соседних имений и явятся господа в сапогах со шпорами. Яства отличные, изысканные, вина выдержанные, старые, а за спиной слышится шепот: «Сегодня мы услышим Бетховена».

Бетховен сидит за столом невеселый. Он и половины не слышит из того, что говорится за столом, чему смеются дамы. Его французский весьма коряв, он говорит мало.

— Маэстро, я слышал, что вы прекрасно играете на фортепьяно! — старается быть любезным молодой капитан. — А на скрипке тоже, не так ли?

Вопрос кажется композитору безгранично глупым. Можно ли быть виртуозом на целой дюжине инструментов? И кажется, повеяло опасностью. Похоже, что его повлекут к фортепьяно.

Он не отвечает, сделав вид, что не расслышал вопроса, и незаметно удаляется из столовой.

С облегчением усаживается он в кресло в своей комнате. Спокойно, тихо, никаких глухих речей... Конец комедии.

Кто-то стучит в дверь — осторожно, но настойчиво. Что еще такое? Входит слуга, почтительно кланяясь:

— Его сиятельство настоятельно просит вас выйти в маленькую гостиную, он хочет сказать вам несколько слов.

Бетховен вышел взвинченный, насушенный. Ноги не шли, будто были налиты свинцом.

Князь раскраснелся, возбужден.

— Я обещал французам, мой друг, что вы немного поиграете — это будет для них самым лакомым блюдом.

Бетховен пришел в ярость:

— Вы можете им обещать, ваше сиятельство, устриц, омаров или токайское, но не Бетховена!

Хозяин настаивал, поначалу любезно, потом повелительно. Композитор сердито махнул рукой в знак отказа и вышел из гостиной.

Вслед ему слышалось как бы шутливо, но не без угрозы:

— Мы приведем вас силой! Не забывайте, что мне придут на помощь не кто-нибудь, а воины Наполеона!

Хуже этого он ничего придумать не мог. Грозить художнику силой! Тому, кто не признает ничьей власти над собой. И пугать его чужеземным хлыстом!

Он вернулся в свою комнату и повернул ключ трижды. Пусть теперь попробуют войти!

Но добрейший князь под воздействием винных паров

сегодня не склонен был отступать. Через несколько минут он снова был у двери. Хозяин привел с собой подмогу.

Господа звали, стучали, колотили в дверь, а позади стоял слуга — громадного роста.

В комнате Бетховена воцарилась грозная тишина.

— Ломай замок! — приказал князь.

Лакей нажал, дверь затрещала. Он с силой надавил снова — послышался скрежет ломающегося железа.

Во главе с Лихновским все ворвались в комнату. Бетховен вскопчил, лицо его потемнело, глаза бешено сверкали.

— Вон! Как вы смеете!

— Мы уйдем отсюда только с вамп! — закричал князь. — К чему эта комедия? Вас же не убудет от этого. Пойдемте! — И князь сделал шаг, намереваясь взять за руку взбешенного музыканта.

— Не подходите! Не прикасайтесь ко мне! — прорычал Бетховен. Все зло, существовавшее в мире, сосредоточилось сейчас для него в этом человеке.

Итак, в его друге все же пробудился властелин. С плеткой в руках! Он ведь князь! Князь, а пялится с наполеоновскими лакеями.

Но и Лихновского душила злоба. Хозяин он в замке или нет? И он снова, взяв Бетховена за руку, попытался увести его к двери.

Но гнев уже переливался через край. Бетховен отскочил назад, быстро повернулся, и они снова стали лицом к лицу. В сильных руках Бетховена над головой тяжелый дубовый стул.

Еще секунда, и он разможжит князю голову. Между ними уже стена из людей, одновременно говоривших, хотя и не слушающих друг друга.

Потом сразу наступает тишина. Только где-то на лестнице звучат взволнованные голоса, но и они стихают.

Композитор стоял среди компаты, тяжелый стул валялся у его ног. Он толкнул его, рванулся к шкафу, натянул плащ и уже в шляпе, обмотав горло шарфом, начал выбрасывать все свои вещи на середину красного ковра.

Потом, будто вспомнив что-то, бросился к кипе бумаг, вытащил из нее связку каких-то нот и чистую бумагу.

Стоя, он быстро пишет несколько строк. Записка остается на столе, когда он уходит со связкой нот в руках. Изуродованная дверь остается открытой настежь.

Он стучит в каморку слуги:

— Завтра утром доставьте мои вещи в Опаву. Я возвращаюсь в Вену.

Заспанный слуга мигает глазами и, зякаясь, повторяет:

— В Опаву? В Вену? А как же я вас там найду?

Вместо ответа композитор только махнул рукой. Поспешные шаги затихают. Темная фигура в плаще покидает замок — он оказывается в черной тьме позднего вечера. Под дождем. Ведь и небо редко бывает милосердным к Бетховену!

Композитор выбирается на дорогу, ведущую к Опаве. Он не останется под крышей этого дома. Не станет дожидаться пинга, которым его сбросят с лестницы. На него обрушилась непогода, потоки воды падали с неба, обдавали его из луж. Под плащом он прижимал к себе самое дорогое, что у него есть, — «Аппассионату». Но уберечь ее от проникающей сквозь одежду воды не смог...

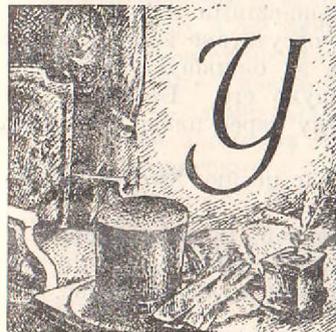
И через столетия люди будут всматриваться в рукопись, обнаруживая следы этой страшной ночи.

Промокший до нитки, брел Бетховен по незнакомой дороге. После полуночи он прошел ворота опавской крепостной стены.

Утром Лихновский обнаружил на столе письмо:

*«Князь!*

*Тем, кем вы являетесь, вы обязаны случайности своего рождения. Тем, кем я являюсь, я обязан самому себе. Князей существует и будет существовать тысячи. Бетховен — только один.»*



же давно Бетховена все сильнее притягивает поэзия величайшего из современных немецких писателей, Вольфганга Иоганна Гёте. Некоторые стихотворения поэта неотступно живут в памяти, непрестанно звучат в ушах и требуют, чтобы их красоту он воплотил в музыке.

Сейчас Бетховен сидит над одним из самых любимых. Он закапчивает музыку на «Песнь Миньоны». Это печальная жалоба итальянской девушки, разлученной с родиной. Как страстно звучат ее воспоминания о счастливом детстве!

Ты знаешь край, лимоны там цветут...

Миньона тоскует о родном крае, где жизнь была безмятежной, спокойной, и Бетховен вкладывает в эту мелодию свою собственную тоску. Он думает не об Италии, а о том уголке венгерской земли, где в парке стоит заветный белый дом.

Там у деревьев есть свои имена, а может быть, и человеческие души. По глухим дорожкам бродит задумчивая Тереза...

Путь от Вены в Коромпу недолог, но поездка туда небезыточна. Как пропасть лежит на его пути запрет родственников. Разве он жених для Терезы? Неимущий, не обладающий фамильным гербом, даром что в свои

неполных сорок лет он признан первым среди немецких композиторов.

Вдруг чьи-то маленькие руки легли на его плечи. Он сердито повернулся. Кто осмелился войти, когда он играет!

— Это я — Brentano.

За его спиной стояла прелестная женщина, с розовым лицом и большими глазами, сверкавшими в тени соломенной шляпы. Пожалуй, только отсутствие южной смуглости не позволяло принять ее за ожившую Миньону! Мрачное настроение сразу покинуло его. Бетховен, не вставая из-за рояля, подал ей руку через плечо и весело сказал:

— Я только что сочинил для вас песню. Хотите ее послушать?

Она молниеносно кивнула головой, прошла вперед и оперлась руками о рояль. Ее карие глаза смотрели на него. Запел рояль, и за ним вступил мужской голос:

Ты знаешь край, лимоны там цветут...

Странный голос... Резкий, громкий, какой часто бывает у глухих. Девушка слушала с грустью. Но скоро ее так захватила сама песня, что она забыла обо всем. Когда она зааплодировала, щеки ее пылали.

— О, как это красиво! Прекрасно!

— Тогда я спою еще одну. Хотите? — воодушевился Бетховен и запел другую песню Гёте, о любимой Италии, голосом еще более громким и резким:

Лейтесь вновь, слезы вечной любви!

Не дожидаясь приглашения, она присела на край кушетки, заваленной нотами и книгами.

— Наши говорили мне, что вас нелегко разыскать. Будто у вас три квартиры: одна в городе, другая здесь, у городской стены, а третья за городом. Но от меня вы нигде не укроетесь, маэстро!

Бетховен добродушно кивал головой. И хотя молодая

дама старалась говорить как можно яснее, он почти не слышал ее. Однако ему доставляло большое удовольствие любоваться дерзким и милым существом. Она пришла к нему всего второй раз, но чувствует себя здесь как дома.

Бетховену было свойственно с доверием тянуться к людям.

— Ко мне так и валят визитеры! Всякие знатные господа, которых я не люблю. Если бы я не скрывался, не было бы отбоя от посетителей...

— Которые лезли бы в вашу квартиру незваными, как я, да? — засмеялась она.

— Меня засыпали бы приглашениями к обеду, ужину и даже завтраку!

— А меня как раз послали для того, чтобы заманить вас на обед.

— Но у меня, право, нет времени, барышня, — пожал он плечами.

Она сделала вид, что огорчена, но тут же вскочила с кушетки и рассмеялась.

— Вы думаете, что я огорчилась тем, что вы не хотите идти к нам? Как бы не так! Я знала, что вы не пойдете. Но огорчилась оттого, что вы назвали меня «барышня».

— Но как же иначе?

— Беттина! Я бы в самом деле хотела, чтобы вы так меня называли, — повела она прелестной головкой. — Гёте зовет меня просто «дитя». Кое-кто уже тоже стал меня так называть вслед за ним. Будто я и правда вечное дитя. Но я, представьте, через год выйду замуж, — подняла она вверх розовый пальчик.

Она действительно обладала даром легко сходитьсь с людьми. Недаром Гёте любил ее, как дочь.

Она начала рассказывать о Гёте, почувствовав, что композитор с удовольствием слушает ее рассказ о жизни поэта. Образованная и любящая музыку семья Brentano была прибежищем композитора в первые месяцы его венской жизни. Младшая Brentano приехала в Вену только

недавно, однако казалось, что она знает Бетховена уже много лет.

Поэзия Гёте давно притягивала Бетховена. Только неделю назад он закончил музыку к трагедии «Эгмонт», опера должна была идти вскоре в венском театре.

Беттина была талантливой рассказчицей: перед ним возникали живые картины жизни гостеприимного дома в Веймаре, фигуры гостей, звучали мудрые речи Гёте. Девушка оказалась не такой наивной, как это можно было подумать. Она повторяла, почти дословно, серьезные суждения об искусстве, услышанные и воспринятые ею.

«Это она переняла у своего брата-поэта», — размышлял Бетховен, слушая ее. Однако подозрение это было необоснованным. Беттина обладала незаурядным умом и была образованна. Композитор постепенно попадал под обаяние девушки, очаровательной и остроумной, так отличавшейся от жеманных и необразованных девиц из мещанских семей. Как и Гёте, он был захвачен бурным потоком ее речей, искренних, страстных. Беттина постоянно была чем-то увлечена. Он говорил с ней откровенно:

— Стихи Гёте сильно увлекают меня не только своим содержанием, но и ритмом. Его язык меня волнует и буквально понуждает к сочинительству. Из этого волнения возникает мелодия, и я должен разрабатывать ее. Музыка — это как бы переводчик между духовной жизнью и нашими чувствами. Я хотел бы поговорить об этом с Гёте, если бы мог рассчитывать быть понятым.

Давно уже мечтал он о встрече с Гёте, и ему показалось, что Беттина могла бы быть посредницей между ними. Он неуверенно заговорил о такой возможности.

— Конечно, — просияла девушка. — Давно уже следовало вам встретиться — величайшему поэту и величайшему композитору Германии! Я непременно позабочусь об этом.

Бетховен растроганно поблагодарил ее. Никогда он не называл свою дружбу никому, но слишком сильным

было желание встречи с великим поэтом. Обрадованный Бетховен не заметил, как согласился пойти на обед, ради чего девушка пришла и от чего поначалу отказался.

В отличном настроении вошли они в дом. Общество, сидевшее в столовой, так и замерло, увидев входящего Бетховена под руку с Беттиной, — все знали, что он не терпит, чтобы кто-нибудь осмеливался мешать ему работать в это время дня.

Столь эффектное появление Беттине удалось осуществить в обмен на обещание, данное Бетховену, и оно было ей по душе.

— Раз я принял ваше приглашение, не примете ли и вы мое? — спросил он, прежде чем они вошли в дом.

— К обеду? — удивилась она.

Бетховен безнадежно махнул рукой:

— Какой может быть обед у старого холостяка! Я хочу пригласить вас к иному пиршеству. Завтра утром в театре в первый раз будем репетировать «Эгмонта». Желаете послушать?

— Маэстро, от такого пиршества я никак не могу отказаться. Принимаю приглашение и страшно рада ему! — Ее глаза сияли.

На следующий день Бетховен приехал за ней.

Через полчаса она уже сидела одна-единственная в большой и темной театральной ложе. Перед ней развернулась черная глубина сцены, на ней не было ни единой души. На девушку веяло тоской от этой тьмы и безлюдья. Композитор, проводив ее в ложу, погладил ее по плечу и пошутил:

— Надеюсь, Беттина, вы не побойтесь сидеть здесь одна? «Эгмонт» — сочинение о мужественных людях.

Ей можно было не напоминать об этом. Прославленную трагедию Гёте она знала на память.

Поэт изобразил в ней судьбу благородного полководца. Нидерландцы взбунтовались против испанской тирании в шестнадцатом веке, и во главе восстания встал Эгмонт. Он был коварно схвачен и осужден на смерть. Отваж-

ная девушка Клерхен призывает народ выступить на его защиту. Эгмонту не удается избежать тяжкой кары. И мужественная Клерхен расплачивается жизнью за свою любовь и борьбу.

Еще по дороге в театр Бетховен рассказал Беттине, что он написал к трагедии увертюру, антракты между действиями, две песни и музыкальную картину «Смерть Клерхен». Он создал также мелодраму к последнему монологу Эгмонта в тюрьме. В ней он призывает народ поднять оружие против угнетателей. Трагедию завершает краткий победный финал.

— Финал тот я написал не таким мрачным, как у Гёте, — рассказывал композитор. — Такая умная головка, как ваша, поймет, почему я сделал так.

Эти слова подстегнули и без того возбужденное до крайности любопытство Беттины.

Темное царство перед ее взором постепенно светлело. Слуги принесли в оркестр свечи и расставили их у пиюитров. Понемногу приходили музыканты. Они рассказывались, настраивали инструменты, раздавались трели отдельных инструментов, музыканты разминали пальцы.

Потом она увидела Бетховена. В темно-сером фраке он пробирался среди музыкантов. Поговорил с одним, хлопал по плечу другого, третьему указал на что-то в нотах, лежавших наготове. Когда он наконец поднялся на свое возвышение, музыканты умолкли, не дожидаясь взмаха его палочки.

Вот о чем она давно мечтала: услышать, как величайший из музыкантов сам дирижирует своим сочинением! Затаив дыхание, она не спускала глаз с Бетховена, уверенно управлявшего оркестром с помощью своей дирижерской палочки.

Она вспомнила вдруг о своем старом друге. О, если бы он мог сидеть рядом с ней, слушать и видеть!

«Когда я увидела того, о ком хочу теперь тебе рассказать, — писала она Гёте, — я забыла весь мир...

...Я хочу говорить тебе теперь о Бетховене, вблизи

которого я забыла мир и даже тебя, о Гёте! Правда, я человек незрелый, но я не ошибаюсь, когда говорю (этому не верит и этого не понимает пока что, пожалуй, никто), что он шагает далеко впереди всего человечества, и догоним ли мы его когда-нибудь?

...Как хочется, чтобы он прожил столько, сколько понадобится для того, чтобы мощная и возвышенная тайна, которая заложена в его существе, достигла полного выражения!..»

Так шептала самой себе Беттина, охваченная еще никогда не виданным волнением.

Она сознавала величие музыки Бетховена, ее революционность. Музыка звала к победе.

Вот почему композитор предупредил, чтобы она внимательно следила за концом!

«Свободу! Дайте свободу Человеку!» — звучал призыв, перед которым правители напрасно зажимали уши.

Когда композитор пришел в ложу, чтобы проводить гостью домой, она сказала ему, что поняла финал его сочинения.

— Это не первый и не последний случай, когда я призываю своей музыкой к свержению тиранов, — говорил он, когда они сидели в коляске. — Вы слушали мою оперу «Фиделио»? Хотя напрасно я спрашиваю вас. Как вы могли слышать, если ее не ставят нигде! Музыку не понимают, а сюжет слишком смелый. Опять там бунт против угнетения. Уже в первом действии вы могли бы увидеть двор замка, полный узников, их ненадолго вывели на прогулку из подземелья. Тиран Писарро еще властвует. В тюремном подземелье держат в цепях человека, который первым осмелился поднять голос против угнетателей. Это Флорестан. Его жена пришла к тюремщикам, переодетая юношей под именем Фиделио. Неузнанная, она попадает в камеру, где томится ее муж. Когда тиран Писарро решает убить Флорестана, Леонора — Фиделио становится между ними, помешав убийце и сохраняя этим жизнь мужу, потому что в этот момент в замке

появляется дон Фернандо, старый друг Флорестана. Он послан, чтобы покарать Писарро за все его злодеяния.

И, немного помолчав, добавил:

— Впрочем, это только сухая схема, музыка сказала бы вам больше. Сказала бы вам, какой должна быть опера в моем представлении, и как я высоко ценю человеческую свободу, и о том... — Он не договорил и вдруг обратился к девушке: — А за кого, собственно, вы собираетесь выходить замуж в будущем году?

Беттина слегка покраснела.

— За Иоахима Аршима. Это лучший друг моего брата. Он на четыре года старше меня.

— Хороший человек?

— Говорят, что без недостатков людей нет. Но у Аршима я не вижу ни одного. Он поэт и природовед. Но прежде всего он настоящий мужчина. Он знает, чего он хочет, он добивается, чего хочет, а то, что он хочет, всегда благородно!

Бетховен лукаво взглянул на девушку:

— А знаете, Беттина, я бы не взял вас в жены. У вас слишком строгие требования к мужу.

— Но, маэстро, вы как раз образец такого человека! Вы знаете, чего хотите, вы воплощаете в жизнь свои желания, и они всегда благородны. Гёте закончил свое сочинение смертью героя-революционера. Вы хотите большего. Борьба за свободу должна кончаться победоносно. Это обещает ваша музыка.

— Жаль только, что музыке не дано совершать революции.

— Но вы совершаете революцию в музыке, которой до вас не свершал никто! И победоносную при этом!

Композитор недоверчиво покачал головой.

— Я, собственно, хотел говорить о другом. Я спросил вас, кто станет вашим мужем, потому что «Фиделио» — это пример того, какой должна быть истинная любовь между супругами. Даже дружба требует величайшего родства душ и сердец. Тем более супружество. «Fidelis»

значит по-латыни «верный, крепкий, надежный». Поэтому Леонора принимает имя Фиделио. Она пошла за своим мужем в тюрьму, а если нужно было бы, пошла бы и на смерть.

— Но, маэстро, если вы так хорошо рассуждаете об этом, почему же вы сами...

Он остановил ее взмахом руки:

— Что сказать вам о себе? «Сожалею о своей судьбе» — восклицаю я вместе с Иоанной д'Арк\*. Лучше не будем об этом! Но я говорю с вами так, будто вы слушали «Фиделио». Может быть, и услышите когда-нибудь. Правда, от меня, наверное, опять потребуют, чтобы я снова переработал ее. Судьба этой оперы создаст мне ореол мученика... Но вернемся к «Эгмонту». Я написал его только из любви к Гёте. И кто в силах полнее выразить признательность столь великому поэту? Если будете писать Гёте, найдите такие слова, которые выразили бы мою бесконечную благодарность ему и мое глубокое уважение.

— Я напишу ему о вас много хорошего, и уже сегодня, — пообещала Беттина горячо.

...Гёте ответил без промедления.

Счастливая Беттина пришла к Бетховену, радостно помахивая письмом:

— Вот оно! Гёте хочет встретиться с вами и надеется, что научится у вас пониманию музыки.

— Ну, если кто-нибудь и может научить его понимать музыку, то это в самом деле я, — сказал композитор уверенно.

Беттина расположилась на кипе нот и книг. Вокруг, как всегда, были разбросаны ноты и вещи, и ей не удалось найти свободный стул, чтобы сесть.

— Подождите, маэстро, — сказала она взволнованно.

\* Бетховен приводит слова героини трагедии Фридриха Шиллера «Иоанна д'Арк».

по. — Я это письмо разделю между нами двумя. Что написано для меня, я пропущу; что ваше, прочту вам.

Она водила пальцем по строчкам, что-то неясно бормотала, потом начала читать звенящим голосом:

— «Передай Бетховену мой сердечный привет. Я с удовольствием принесу какую угодно жертву для того, чтобы встретиться с ним лично. Обмен мыслями и опытом принес бы нам много пользы. Может быть, ты сможешь уговорить его поехать в Карлсбад, куда я езжу почти каждый год. Там я имел бы прекрасную возможность слышать его и учиться у него...»

— Простите! — прервал девушку Бетховен. — Это я хочу учиться у Гёте! Я был бы счастлив узнать, что он доволен тем, как я переложил на музыку его сочинения. Вы написали ему об этом?

— Я написала, но он не хочет вас поучать в чем-либо. Послушайте терпеливо! — И она снова склонилась над письмом. — «...Обучать его было бы дерзостью даже со стороны более пронырливого человека, ибо гений освещает ему путь и дает ему частые просветления, подобные молнии, там, где мы погружены во мрак и едва подозреваем, с какой стороны блеснет день».

Потом она опять что-то бормотала, переворачивая страницы письма.

— Дальше уже только для меня, — сказала она, подняв голову и рассмеявшись. — Но вот еще кое-что для вас! Гёте был бы очень рад, если бы вы послали ему те две песни, которые вы мне недавно пели. Только он просит, чтобы было написано разборчиво.

Уставившись в пространство, Бетховен сидел в своей скромной комнате с расстроенным фортепьяно, снятой им в Теплице. Еще в прошлом году влекли его в этот курортный городок две причины: необходимость восстановления своего здоровья и надежда на встречу с Гёте.

Но какие-то обязанности высокого придворного чиновника не позволили великому поэту приехать в назначенное время. А лечение? Болезнь усиливала глухоту все больше и больше. Не то чтобы быстро, но — медленно и неуклонно.

Композитор как будто уже смирился с болезнью. Она крадется за ним как тень вот уже много лет.

Поездка в этом году не была уже связана с надеждой на выздоровление. Зато он надеялся встретиться здесь наконец с поэтом, который был так дорог ему.

Беттина Brentano, теперь уже Арним, подготовила эту встречу. Сама она тоже придет вместе с мужем в конце сезона. Значит, в Теплице его ожидают радостные дни.

Но сегодня душа Бетховена охвачена печалью. На столе лежат письма: два он написал вчера, сразу по приезде, сегодня третье. Нет, эти неразборчивые строки не были написаны кое-как! Просто его рука не могла спокойно держать перо.

Тереза тоже это поймет!

Шесть лет прошло с того счастливого вечера в Коромпе, когда прозвучало тихое признание: «Если ты хочешь отдать мне свое сердце...»

Он взял письмо и снова перечитал строки, полные тревоги:

*«Мой ангел, мое все, мое я — сегодня лишь несколько слов, и именно карандашом твоим... Отчего эта глубокая печаль, там где господствует необходимость? Разве наша любовь может устоять только ценой жертв?..»*

*...Ты страдаешь, мое самое дорогое существо... Ах, встобу, где я нахожусь, ты тоже со мной.*

*...Что это за жизнь! Без тебя — постигаемый повсюду человеческой добротой, которую я не стремлюсь заслужить и не заслуживаю... Я люблю тебя, как и ты меня любишь, только гораздо сильнее...»*

А вот оно, только сегодня написанное письмо, лежит здесь с утра.

*«...Доброе утро! Еще лежа в постели я был полон мыслей о тебе, моя бессмертная возлюбленная! Они были то радостными, то грустными. Я вопрошал судьбу, услышит ли она наши мольбы.*

*...О боже, почему надо расставаться, когда любишь друг друга?.. Твоя любовь сделала меня одновременно счастливейшим и несчастнейшим из людей.*

*Навеки твой,*

*Навеки моя,*

*Навеки принадлежащие друг другу».*

Вечно принадлежащие друг другу! И вечно разлученные друг с другом!

*«И все же, Тереза, любовь делала меня сильнее. Ни один период моей жизни не был таким плодотворным, как этот. Хорошо, что уже в детстве я научился забывать от горя в работе! Моя жизнь, милая любимая девушка, стала похожа на тот холодный чулан, в который меня запирали в детстве.*

*В отчаянии я пробиваюсь от страдания к радости! И число творений моих все увеличивается, растет и слава. Если бы так же возрастала моя радость!»*

Мысленно он перебирал все сочинения, написанные в дни болезни и печали.

Среди них возвышались большие симфонии. Четвертая, сочиненная после «Геронческой», полна радостного настроения того лета, когда в Коромпе родилась надежда на счастье. Но уже через два года в Пятой симфонии — симфонии Судьбы — солнце счастья зашло. Болезнь преследовала неотступно. Слух музыканта находился под угрозой, отчаяние охватывало его. Однако эта несокрушимая душа продолжала искать путь к свету. Он искал его наедине с природой, и свидетельством тому Шестая симфония, композитор недаром дал ей название «Пасторальная». Пастушеская, сельская, она была сладостно спокойной. Правда, впервые она прозвучала в кровавом

1809 году, когда Австрия возобновила войну против Франции.

Бетховен не забудет этих дней! В апреле симфония была издана, а через четыре недели над Веной рвались снаряды. Кольцо наполеоновских войск сдавило город со всех сторон. При обстреле Бетховен вынужден был скрываться в подвале дома, где жил брат его, Карл, сидел, заложив уши ватой, оберегая больной слух, потому что на город изливалась лавина железа и огня, земля сотрясалась от грома пушек, окружающие дома были объаты пламенем.

Когда гарнизон сдался и бомбардировка прекратилась, беды не кончились. Город заняли французы, связь с деревнями прекратилась, мосты через Дунай были разрушены. Наступил голод. На город была наложена контрибуция в пятьдесят тысяч дукатов.

В сумятице, когда неприятельские пули стучали о стены домов, перестал дышать благородный Гайди, и его похоронили украдкой. Бетховен со вздохом отогнал воспоминания и медленно сложил исписанные листки, чтобы отнести их наконец на почту.

Едва он взял в руки шляпу, как в дверь раздался стук. Кто же это опять? На каждом шагу, во всякое время дня его донимали незванные чужестранцы. Обычно им не нужно ничего, кроме возможности похвастать дома, что они пожали руку величайшему из живущих на свете композитору и видели его квартиру, о беспорядке которой ходило множество толков.

Стучавший не стал дожидаться приглашения. В дверях появился худощавый человек болезненного вида, со жгучими глазами.

Бетховен, готовый уже взорваться гневом, рассмеялся, увидев старого знакомого, Франца Оливу. Он любил этого юношу, служащего одного из венских банков, по вечерам изучавшего разные искусства и особенно увлекавшегося музыкой.

— Маэстро, несую весть, которая вас заинтересует. Только что я узнал, что через неделю приедет герцог Веймарский! Уже прибыл гофмейстер и готовит для него покой.

— Что же в этом интересного? — произнес композитор разочарованно. — Летом поминутно натыкаешься здесь на всяких герцогов и князей. Сколачивают союз против Наполеона. Он где-то в России, а эти плетут заговоры. Похоже, что восемьсот двенадцатый год принесет Австрии новую войну.

— Но с герцогом Веймарским...

Композитор не дал ему закончить. Он помахал письмом, которое держал в руках, загремел:

— Никакой герцог меня не интересует! Может быть, он вознамерился нанять меня в услужение? Скажите ему прямо, что я не суждаюсь в его милостях. Даже лучшие из этих господ способны на низость. Шесть лет назад Лихновский дошел до того, что выломал замок в моей комнате, чтобы принудить меня к послушанию.

— Однако теперь вы в хороших отношениях! — засмеялся Олива.

— Это не моя заслуга. Но примирения не было долго. Больше четырех лет я не знался с ним. В обществе он значил для меня не больше пустого кресла!

Бетховена задела за больное. Разве не господа виноваты в том, что он вынужден писать вот такие отчаянные письма, как то, что держит сейчас в руке?! И не оскорбляет ли его всю жизнь эта высококордная публика?

— Такова знать! А вы приносите мне «радостную весть», что какой-то новый бездельник приезжает. На какого черта он мне нужен?

— Если бы вы дали мне вставить хоть слово! Вместе с ним едет и Гёте! — сказал Олива, с лукавым видом наблюдая за выражением лица композитора.

Губы Бетховена радостно дрогнули. На мгновение он утратил способность говорить, потом выдохнул:

— Приедет Гёте?

Он положил письмо на стол, подбежал к молодому человеку, сильными руками стиснул его плечи.

— Дружище, и вы говорите мне об этом только теперь?! Вы же знаете, как я жду его! Сколько лет я не читаю ничего, кроме Гёте! Когда же он приедет? Я пошлю ему приглашение! Или сначала я должен нанести ему визит? Впрочем, это неважно. Важно то, что мы наконец сможем с ним поговорить по душам!

Он снял свои руки с плеч Оливы, дважды обежал свою комнату и снова остановился перед ним:

— Что значит весь этот коронованный сброд рядом с ним — королем поэтов? Пойдемте-ка зайдем на почту, а потом вы покажете мне дом, где он будет жить.

Великий мастер слова пришел в его комнату векоре по приезде. Элегантный, поразительно молодожавый для своих шестидесяти трех лет. У поэта было красивое лицо с правильными чертами, глаза, полные ума, удивительно высокий, чистый лоб, над которым висели длинные, с проседью волосы.

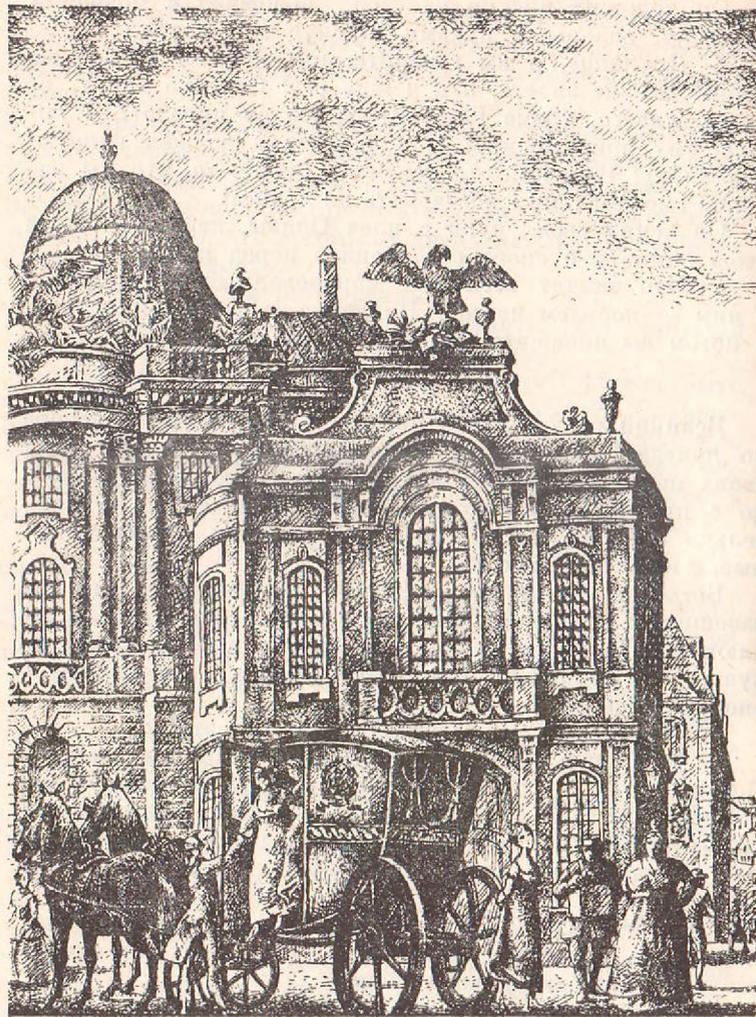
Бетховен поднялся и какое-то мгновение как бы взвешивал: следует ли ему склониться перед ним или заключить в объятия, чтобы выразить всю силу своих чувств. Гёте опередил его. Протянул руку, рассмеялся и спокойно сказал:

— Наконец-то мы встретились! Я рад этому!

— О, я знаю вас уже давно, ваше превосходительство! С детских лет, — сказал Бетховен смущенно, усилием воли укрощая свою восторженность. — В последние годы вы вытеснили из моего сердца всех поэтов. Только Гомер сохранил частицу моей любви... Прошу вас, присядьте.

Он всегда избегал употреблять титулы, но сейчас назвал поэта «превосходительством». Он готов был отдать поэту все сокровища своей души.

Гёте принимал почести как должное. Говорил мало.



Был немногословен, прекрасно понимая, что полуголому композитору вести беседу тяжело. Сев в предложенное ему кресло, он направлял беседу так, чтобы говорить пришлось главным образом Бетховену.

— Я имел удовольствие слышать некоторые из ваших фортепьянных сочинений, но не знаю почти ничего о ваших симфониях. Хотелось бы услышать о них что-нибудь непосредственно от вас. О них говорят и хорошо и плохо, в зависимости от того, с какой ноги встал критик, — начал беседу Гёте с ободряющей улыбкой.

— На свете нет человека, которому я бы с большей охотой рассказал о своей работе, — благодарно ответил композитор.

Он подвинул свой стул ближе к гостю, чтобы не упустить ни одного изменения дорогого ему лица, и с видимым удовольствием заговорил:

— Вам, может быть, трудно будет поверить, что свою Первую симфонию я вынашивал целых девять лет. Не чувствовал себя в силах завершить столь серьезное сочинение. В конце концов я решился сыграть ее в 1800 году — и она имела успех! Тогда я невольно шел еще по стопам своих учителей, Моцарта и Гайдна. Но когда во Второй симфонии я заговорил собственным голосом, все было по-иному.

Это было два года спустя. Я до сих пор помню почти дословно, что писал тогда венский «Журнал для элитного мира»: «Эта симфония — крикливое чудовище, дракон, пойманный и дико извивающийся, он не может умереть и бьет вокруг себя поднятым хвостом, который уже кровотоцит».

Гёте нахмурился. Бетховен пожал плечами.

— То же произошло и с моей Третьей симфонией. «Героической»! Тогда во время ее исполнения некий добряк, сидевший на галерке, предлагал крейцер... — От горького воспоминания у него перехватило горло. Но он сразу же продолжил: — Если позволите, я расскажу вам еще кое-что о Пятой симфонии, названной

мною симфонией Судьбы. Уже в начале там слышится, как стучится в дверь судьба. — Бетховен быстро поднялся со стула и энергично проиграл на фортепьяно два первых такта.

Гёте вполголоса повторил мелодию, которая и в самом деле звучала так, будто кто-то стучал... Поэт покачал головой.

— Судьба настигает, и судьба недобрая... Как я это понимаю!

— О, дорогой маэстро, уж вам ли не понять меня! Зло в самом деле ломилось в мои двери — и сейчас ломится непрестанно. Я глохну — медленно и неотвратимо. Но человек не должен поддаваться. Моя симфония Судьбы — симфония воинственная. Человек ведет сражение с судьбой, не уступает ей.

Я много страдал, но наконец снова обрел свою прежнюю жизненную силу и сказал себе: только мужество! При всех наших телесных недугах должен победить дух! И Пятая симфония, полная тяжелой борьбы, кончается так, что должна подбодрить каждого страдающего. Знаете, ваше превосходительство, самым большим счастьем моим было, когда я мог своим искусством хоть сколько-нибудь помочь несчастным людям.

— Вы сильный человек и благородный, — серьезно произнес Гёте. — А как ваша Шестая симфония? Вы написали их шесть, не правда ли?

— Шестая? «Пасторальная»? Я облегчил обществу ее понимание тем, что отдельные части обозначил точными наименованиями: «Пробуждение бодрых чувств по прибытию в село», «Сцена у ручья», «Веселая компания поселян», «Пастушеская песня» и тому подобное. Сейчас я работаю над Седьмой и Восьмой симфониями.

— Одновременно? — удивился Гёте.

— Да-да! — засмеялся композитор. — Ведь вся моя жизнь заключена в нотах, и едва одна вещь готова, другая уже начата. Часто я работаю над тремя-четырьмя сочинениями одновременно.

— Значит, эти ваши две симфонии мы скоро услышим?

— Услышите непременно, хотя... После исполнения Пятой некоторые критики написали, что просто не понимают ее. Это по крайней мере честно! Но немало и таких, которые бранят произведение искусства только потому, что не понимают его.

— Ну, так, наверное, будет во веки веков. Большинство людей упорно противится новому. *Laudatorī temporis actī*\* никогда не переведутся, — заметил поэт и добавил: — Надеюсь, что со временем мы услышим в Веймаре все ваши симфонии. Но особенно хвалят ваши импровизации. Вы оказали бы мне большую любезность, если бы сыграли мне что-нибудь. Усердно прошу вас об этом!

Композитор охотно сел к фортепьяно. Он, который с таким презрением относился к знати, сейчас был готов выполнить любое желание своего гостя. Старенькое фортепьяно под его руками изливало поток восхищения и любви великому поэту.

Гёте сидел, откинувшись на спинку кресла. Он слушал, и его душа тоже пламенела. Но по-иному. Это не было горение факела. Так горит лампа в гостиной — ровным, спокойным пламенем. Он еще никогда не слышал такой игры и не мог оторвать взгляда от лица пианиста. Вот художник, способный с такой силой отдаваться своему искусству, что в голову ему сейчас бросилась кровь, и вены на висках того и гляди лопнут!

Страстная мелодия звучит и звучит, но поэт наконец встает, натягивая перчатки на свои выхолненные руки. Визит окончен.

— К сожалению, я должен идти, — с улыбкой произнес Гёте. — Это было великолепно. Я никогда не встречал художника столь собранного, столь энергичного и проникновенного, как вы. Вы еще многое скажете миру!

Коренастый силач был наверху блаженства, как ре-

\* *Laudatorī temporis actī* (лат.) — хвалители старых времен.

бенок, которого похвалили. Каждый звук дорогого голоса звучал для него как благовест. Заикаясь, он произносит:

— Позвольте мне проводить вас!

Поэт учтиво отказался:

— Вы очень любезны, но в этом нет необходимости. Меня ожидает экипаж. Я слышал, как он только что остановился перед домом.

Бетховен разочарован. Экипаж? Как мог Гёте слышать экипаж, когда он играл так, что сердце его едва не разорвалось?

Гость тотчас же заметил огорчение композитора и поспешил утешить его:

— Я был бы очень счастлив, если бы вы завтра после обеда согласились немного погулять со мной.

— С удовольствием, с истинным удовольствием! — сердечно ответил Бетховен.

Но прогулка на другой день не принесла ему ожидаемой радости. Ему казалось временами, что поэт похож на произведение скульптора, безусловно выполненное в каждой линии, благородное, но холодное.

Оба добросовестно старались понять друг друга. Ведь не было тогда в европейской культуре более значительных людей, чем они. Но вот в разговоре Гёте вспомнил, как он встречался с императором и как тот приветствовал его словами:

«Вы воистину Человек!»

Бетховена это не тронуло.

— Он лицец! — сурово произнес композитор. — Я бы похвалам из его уст не радовался.

Спокойное лицо Гёте внезапно вспыхнуло.

— Я думаю, что вы не понимаете Наполеона. Он слишком велик для Европы, для нашего времени. Это человек железного характера. Ничто не может поколебать его. Он одинаково тверд — перед битвой, в битве, после победы, после поражения! Он стоит на ногах прочно и ему всегда ясно, что нужно делать, — так, как вам, скажем, ясно, должны вы играть аллегро или адажио.

Бетховена сравнение почти оскорбило.

— Я не признаю никаких особых черт характера, дающих право ставить человека в число лучших из всех, когда-либо живших на свете. Что мы должны требовать от великого человека, равно как и от обыкновенного? Чтобы он был благороден, добр и всегда был готов помогать ближнему. Для кого же действует Наполеон? Только для себя и ни для кого иного! Я вычеркнул его из числа уважаемых мною людей.

Пронзая свою горячую речь, Бетховен зашагал быстрее, опережая поэта. Он не привык к такой степенной ходьбе.

Гёте и не подумал спорить. Было ясно, что Бетховен того и гляди, сойдет с гладкой колеи почтительной беседы и ринется в атаку с такой же стремительностью, с которой он играл свои импровизации. Искушенный мастер салонных бесед осторожно перевел разговор на другую тему. Он похвастался, что написал комедию для молодой императрицы Марии Людвиги. В ней участвует она сама, эрцгерцогиня и дамы из придворных кругов. И с гордостью добавил, что сам руководит репетициями и императрица послушно следует его указаниям.

— Зачем это? — сердито отозвался Бетховен. — Вы не должны так делать! Вы почаще напоминайте им, что вы значите, не то они уважать вас не будут. Ни одна из принцесс не интересуется вашей поэзией больше, чем это необходимо для удовлетворения ее тщеславия...

Однажды, когда я занимался с эрцгерцогом Рудольфом, он заставил меня долго ожидать его в передней. Ну и давал я ему в тот раз по пальцам, когда он ошибался! Он был шокирован и спросил меня, почему я так нетерпелив сегодня? Я ответил ему, что все мое терпение иссякло в передней. После этого он уже не заставлял меня ждать. Я заметил ему также, что он доказал лишь свою невоспитанность. «Вы можете любому нацепить орден, но этим вы не сделаете его лучше ни на йоту, — сказал я ему, — вы можете сотворить придворных со-

ветников, но не Гёте и не Бетховена. Поэтому научитесь уважать то, чего сами вы не умеете и еще долго не будете уметь!» Вот как следует обращаться с ними!

Гёте не произнес в ответ ни слова. На ветвях деревьев, под которыми они проходили, не шелохнулся ни один лист. Тишина сделалась особенно ощутимой. Бетховен опечалился.

— Вы молчите, — сказал он разочарованно. — Я ожидал, что вы будете откровенны. Вы, написавший «Эгмонта» и «Гёца фон Берлихингена»\*. Разве они не борцы против тиранов? Разве вы не вложили в их уста горячие речи в защиту свободы?

Старый поэт некоторое время не отвечал, наконец, вздохнув, произнес:

— Сейчас я на многое смотрю иначе.

И снова наступило тяжелое молчание. Лишь изогла раздавался хруст раздавленной веточки. Бетховен заговорил первым. Он преодолел свое возмущение, но все-таки за спокойными словами проглядывало волнение:

— Как жаль, что мы не могли встретиться с вами в одном возрасте! Так, между двадцатью и тридцатью годами. Тогда вы не были тайным советником и министром. Вы призывали к свободе. А теперь, боюсь, что воздух герцогского двора слишком нравится вам. Поэты должны быть первыми учителями своего народа, и им не следует ради своей славы забывать, как отвратителен этот мир. Судьбой человека до могилы распоряжается случайность, только она и определяет, где он родится — во дворце или в бедной хижине.

Гёте резко повернулся к нему, но отвечал, сохраняя корректную манеру человека светски воспитанного:

— Вы, вероятно, правы, утверждая, что этот мир отвратителен. Но неужели вы думаете, что для всех будет лучше, если вы будете так необузданно нападать на все окружающее?

\* «Гёц фон Берлихинген» — драма Гёте (1774 г.) из эпохи крестьянской войны XVI века.

— Жизнь есть борьба, и я борюсь так, как умею, — ответил композитор, и снова он оказался на добрый шаг впереди поэта. — И сделай меня хоть десять раз придворным советником, я все равно не стал бы пиним. Еще в молодости я установил для себя правило, которого придерживаюсь неуклонно: делать добро, где только возможно, любить свободу превыше всего, никогда не скрывать правду, даже на троне!

Гёте слабо, почти незаметно усмехнулся — особенно этому юношескому «на троне». Однако последние фразы, сказанные композитором, ему явно понравились. Он повторил их за Бетховеном и добавил:

— Когда вам было двадцать лет, мне было уже за сорок. Может ли старый Гёте взять на себя смелость добавить к трем вашим принципам еще кое-какие?

— Прошу вас!

— Так вот: верность добру, свободе, правде — сохранять, но при этом уживаться с окружающим миром. С тем миром, который существует вокруг нас. Один человек его не переделает. Скорее лишится головы. Эту истину вы не уяснили до сего дня! И теперь не в ладу с миром. И постоянно приходите в столкновение с ним.

У Бетховена наготове была горестная отповедь. Мир никогда не станет лучше, если каждый человек будет так охотно мириться с несправедливостью, в нем царящей!

Но он сдержался на этот раз. Он подумал: как это странно, в самом деле! Вот он, Гёте, совсем рядом. Достаточно протянуть руку, и можно коснуться рукава из тонкого сукна. И все-таки он безмерно далек! Так далек, что им не понять друг друга.

Поэт ощутил возникшее отчуждение, и ему стало жаль глохнущего композитора. Он взял его под руку и, наклонившись к самому уху, сказал примирительно:

— Ваше искусство безмерно велико, порой до отчаянности. Я почти боюсь его. Оно пробуждает во мне то, что я с таким трудом сломил в себе, — юношескую гордыню и мятежность духа. Временами меня так потря-

сает сила вашего воображения, что я начинаю бояться, что на меня обрушится небо. Вы правы! Мы должны были встретиться молодыми!

Найти благодарный отклик в искренней душе музыканта было нетрудно. Бетховен сильно сжал руку Гёте. Но в то же мгновение он почувствовал, что Гёте поспешно старается высвободить свою руку.

— Императорский двор... — шептал он взволнованно.

На повороте дороги показалась группа разодетых дам и господ. Супруга австрийского правителя со свитой эрцгерцогов и придворных дам шествовала навстречу им.

Бетховен оставался спокойным.

— Идите, как прежде, рядом со мной. Они должны уступить нам, а не мы им! — сказал Бетховен поэту.

Гёте воспротивился требованию Бетховена: освободил свою руку, и, задолго до приближения знатной толпы сняв шляпу, отступил с дороги. Склонив обнаженную голову, Гёте ожидал, пока пройдут императрица, придворные дамы и целая толпа князей.

Между тем Бетховен, заложив руки за спину, спокойно продолжал свой путь. Свита императрицы расступилась перед ним, эрцгерцоги кланялись ему. Композитор ответил им, слегка приподняв шляпу, и, не оглядываясь по сторонам, продолжал идти.

Когда высокородное общество удалилось достаточно далеко, он остановился, подкидая Гёте.

— Вы оказали слишком много чести этим особам.

Поэт в растерянности смотрел на своего спутника и взволнованно кусал губы.

— Это невозможно! Это безумие! — бормотал он.

Гёте уже не был расположен к беседе, отвечал Бетховену отрывисто и заторопился к выходу, сославшись на важные дела. Пожатие его руки было весьма холодным, хотя в душе он искренне старался оправдать несдержанность композитора.

«Конечно, его следует извинить. Бедняга заслуживает сожаления. Он лишается слуха, и это, несомненно, пор-

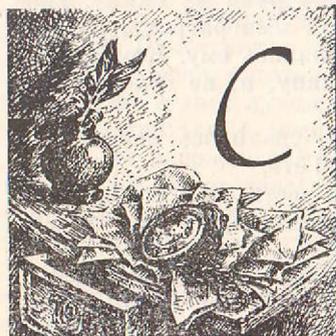
тит его характер. Может быть, на музыку его это не оказывает влияния, но для общения с людьми очень существенно... Советов он не принимает. А его музыка? Да, она сильна и отмечена новизной, но мне она всегда будет чужда».

Гёте уходил не оглядываясь. А если бы оглянулся, то увидел бы, как тот, от кого он отрекся, стоял, прислонившись к дереву, и смотрел ему вслед. Как долго Бетховен ждал этой встречи, сколько надежд связывал с ней — теперь все рухнуло!

И все-таки он всегда будет любить творения поэта. Ведь они, подобно солнцу, величественны и светлы, раздумывал Бетховен, охваченный печалью.

Он смотрел на удаляющуюся фигуру поэта, не спуская с него глаз до тех пор, пока тот не исчез в толпе гуляющих.

«И опять один! Как и всегда!» — вздохнул Бетховен, уходя из парка.



кажите нам, маэстро, почему вы, собственно, не женились? В вашем сердце уже нет места для чувства, это известно. Оно целиком принадлежит музыке. Но женитесь хотя бы из благоразумия! Ведь вам же скоро пятьдесят! И что ни неделя, у вас в доме новая прислуга и вечный беспорядок!»

Добродушно улыбаясь, толстый адвокат Бах написал этот вопрос на листке бумаги и передал Бетховену. В окружении верных друзей композитор сидел во главе стола, как вождь некоего племени. Это были музыканты, журналист, поэт, а из старых друзей Олива и Цмескаль.

На другом конце стола сидел Шиндлер, не спускавший с композитора любящих глаз. Он чувствовал себя здесь таким ничтожным! Все гости Бетховена были или старше его по возрасту, или более знатного происхождения, но выше всех для него был Мастер.

На эти сборища в таверне «У цветущего куста» Шиндлер прибегал при каждой возможности, стремясь побыть поближе своего кумира. Бетховен все чаще давал ему всевозможные поручения, и студент не находил себе места от радости, когда слышал слова благодарности или похвалу.

Вопрос доктора Баха показался ему более чем дерзким. Ну, теперь разразится буря! В самом деле, кого бы не возмутил вопрос, касающийся самых сокровенных сторон его жизни! Он не знал, что в этой дружной компании принято шутить друг над другом, не тая обиды. И Бетховен был среди них первым остряком. По привычке он хотел отшутиться, но потом провел ладонью по лицу, будто хотел отогнать горькие раздумья, и с трудом выговорил:

— К несчастью, я не встретил такой женщины... Я знал лишь одну, которую мечтал иметь своей женой, но это оказалось несбыточным.

После этого горестного признания наступила гнетущая тишина. Только доктор Бах еще громче запыхтел своей длинной трубкой. Они ожидали услышать шутку, и вдруг открылась старая пезаживающая рана. Кроме Шиндлера, все присутствовавшие знали о любви Бетховена и Терезы Брунсвик. До сих пор Тереза оставалась одинокой, а Бетховен не женился.

Тягостное молчание прервал сам композитор, смущенно запустивший пальцы в свою седеющую шевелюру.

— К черту с женитьбой! Лучше принесите кто-нибудь газеты. Посмотрим, какие там новости из Англии. Что у нас делается, мы и без газет знаем. Гнет, ницета, бумажные деньги, падающие в цене день ото дня. А если что новое и есть, так это новые налоги.

— Зато у нас полно солдат, жандармов и у каждой двери по шпику, — язвительно обронил поэт, худощавый и носатый, как Мефистофель.

Бетховен внимательно следил за губами говорившего и, кажется, все понял. Теперь он объяснялся исключительно с помощью карандаша и бумаги. Он всегда носил с собой толстую тетрадь и карандаш, но сам, конечно, не писал. Временами же отвечал собеседнику таким громовым голосом, что бывало слышно на улице, если он вел беседу дома, и в домах, если он говорил с кем-нибудь на улице. А иногда он говорил так тихо, что его не слышал сидящий с ним рядом. Сейчас Бетховен почти кричал, и друзья его не без опаски оглядывались на двери. Они сидели, правда, в задней комнатке, предназначенной для самых избранных гостей. Но внимательные уши могли подстергать и под окном!

— За нами следят, как за преступниками! — бушевал Бетховен. — Меттерних запрещает не только говорить, но и думать! Говорят, он требует от императора прекратить выпуск всех газет на десять лет. Может быть, еще следует завести школы, в которых будут разучивать писать и читать? И будто уже готовится закон, который установит, как высоко смеют летать птицы и как быстро полагается бегать зайцам. — И он рассмеялся так же громогласно, как говорил.

Доктор Бах быстро настрочил ему предостережение:

«Не говорите так громко: кто знает, какие монстры сидят поблизости! И так все в Вене удивляются, почему вас до сих пор не посадили в тюрьму».

В это же время кто-то из присутствующих уже подал ему другую записку: «Не считаете ли вы, что Наполеон лучше, чем ныне правящая свора? Он хотя бы почитал искусства. Говорят, что он смертельно болен. Не следует ли вам уже готовить реквием?»

Композитор сердито насупил. Он не мог простить Наполеону, что тот, имея возможность установить республиканский строй по всей Европе, не сделал этого.

— Я не желаю о нем даже слышать. Одного Людовика с трона свергли, другого на трон посадили.

Он приготовился читать, но едва развернул газету, как кто-то приоткрыл дверь. Показалось полное лицо трактирщика в расшитом колпаке. Он кивнул Шиндлеру, сидевшему ближе всех к двери. Общество умолкло, опасливо поглядывая на дверь, закрывшуюся за студентом. Кое у кого екнуло сердце. Полиция наверняка знала, что в трактирчике «У цветущего куста» собирается компания заядлых республиканцев. Известно было и то, что первое лицо среди них — Бетховен.

Шиндлер возвратился быстро, обвел взглядом весь зал, многозначительно подмигнул и вполголоса объявил:

— Маэстро необходимо идти домой. У него гость. — А композитору он написал: «Пришла ваша домоправительница. Говорит, что дома вас ожидает какая-то дама. Вот ее записка».

Он положил перед помрачневшим композитором сложенную четверо записку. Бетховен развернул ее с невольным видом. Кто это осмелился отнимать у него время? Но едва прочитал, как глаза его засияли. Несколько мгновений он смотрел на записку, а потом, взволнованный, поднялся со стула:

— Я должен идти!

Тереза пришла к нему! Лучшая и чистейшая из женщин, с которыми сталкивала его нелегкая судьба.

Догадки теснились в его голове, то радуя, то пугая.

Одиннадцать лет прошло с того обручения под липами Коромпы, и это были горькие одиннадцать лет! Прошло немало времени, пока утихла обида. Ночь сменяется днем, дождь ясной погодой. Так и с людскими судьбами. Может быть, Тереза нашла способ, как помпировать с ним свою семью...

Или она решила пойти наперекор им?

Бетховен бежал так, что встречные люди оглядывались на него с усмешкой. Видано ли, чтобы пожилой господин так мчался? Да еще со шляпой в руке!

Но он ничего не замечал и в свою квартиру влетел, как буря, радостный, с покрасневшимся лицом и развевающимися волосами. Тереза сидела за столом, побледневшая, красивая, смущенная. Прежде чем она успела подняться, он наклонился и поцеловал ее сложенные руки.

— Как долго я не видел вас, Тереза, как невыносимо долго! Я не верю себе, что вы здесь, со мной, Тереза!

Она отняла у него руку и гладила его поседевшие волосы.

— Мой милый Луиджи, мой славный, несчастный Луиджи! — шептала она, склонившись к нему и забыв, что он ничего не слышит.

Понимал ли он, что она говорит? Он поднял мокрое от слез лицо и проговорил жалобно:

— Я теперь уже так плохо слышу, Тереза! Напишите мне все! — Он подал ей бумагу и карандаш. Она начала писать без промедления:

«Я люблю вас, мой дорогой, добрый Луиджи. Я полюбила вас с первого дня нашей встречи».

— Как и я, — шептал он. — Все эти годы вы были со мной, в моем сердце. Тысячи раз я чувствовал ясно, что вы рядом и помогаете мне.

Она благодарно рассмеялась, и все ее лицо порозовело, от нежного подбородка до чистого гладкого лба.

Тереза опять взялась за карандаш:

«Да, Луиджи, я постоянно слежу за тем, что вы делаете. Радуюсь вашим успехам, страдаю, когда вас постигает неудача. Ваша музыка трудна, поэтому ее не всегда понимают. Зато тот, кто поймет, находит в ней поддержку для себя. Мне кажется, что вы неустанно поновому говорите миру:

«Боритесь за свое счастье, люди! Будьте мужественны, судьбу можно одолеть!» А я наконец решила...»

Он не дал ей договорить. Безумная радость охватила его. Наконец она решилась! Пусть ее родные говорят что угодно! Он вскочил со стула и прошептал прерывающимся голосом:

— Наконец! Вы будете со мной, Тереза! Как мне благодарить вас? Я ждал вас так долго! Тереза! Единственная!..

Он напряженно ждал ответа. Но Тереза сидела, кусая губы, и судорожно сжимала край стола. Он умолк. Склонившись над столом, она писала:

«Мне так жаль, что вы неправильно поняли меня, Луиджи. Я решила трудиться на благо людей так же горячо и бескорыстно, как вы. Я хочу быть похожей на вас. Я посвящу всю свою жизнь брошенным детям».

Он смотрел на нее пораженный. И ничего не понимал.

— А как же я? Как я?

Разговор, который наполовину велся на бумаге, продолжался мучительно долго. Охваченный страхом, он жадно читал еще недописанные слова. Какую еще боль и страдание принесут они ему? Иногда Тереза принималась что-то говорить, и он с болезненным вниманием следил за движением ее губ.

Наконец, измученный, он покачал головой:

— Я не понимаю!

Она снова обратилась к тетради и карандашу. Было написано еще две страницы, пока он понял, что она решила изменить свою жизнь.

Она отрекается от любви, отказывается от личного счастья, она будет искать его в ином.

«Поэтому, милый Луиджи, я кончаю думать о своем будущем, — писала она. — Нам не дано соединить наши жизни. А теперь это уже и слишком поздно. Будем трудиться каждый на своем поприще. Со временем мы увидим, что нам удалось...»

— Это значит... — в отчаянии вымолвил Бетховен, не в силах окончить роковую фразу.

Она отложила карандаш и начала складывать испианные листки. В самом деле, все уже сказано. Она встала.

Он сделал движение, будто желая удержать ее. Она

уклонилась, печальная, протянула ему руку и, глядя в лицо, сказала отчетливо:

— Прощайте, Луиджи! Прощайте, мой бессмертный возлюбленный!

Мужество покинуло ее. Закрыв лицо руками, она рыдалась. Он положил руки на ее плечи, но она высвободилась и выбежала из комнаты.

На какой-то миг силы оставили его. Потом он бросился к окну. Может быть, он еще увидит ее? Может быть, она оглянется и махнет ему рукой, улыбнется?

Напрасно! Конец, конец всему!

— Ах, Тереза, Тереза! — простонал он, и ему показалось, что ноги не держат его, что он падает. Потом вдруг мелькнула мысль: она исчезла, но осталось доказательство ее любви — несколько исписанных страниц. Безумным взором он обвел всю комнату. На стульях, на панино, даже на полу лежали кинь пот. Терезиных листов не было...

Она взяла их с собой! Унесла последнее свидетельство ее любви. Она боялась, что я выброшу их? Или хотела оградить меня от воспоминаний, которые мучили бы меня, как ее мучили мои письма?

Заходило солнце, и запах ее духов медленно исчезал в застоявшемся воздухе комнаты.

И все же кое-что осталось. Бетховен на ощупь протянул руку в глубь письменного стола и, открыв тайную задвижку, достал сверток в белом полотне. Он боязливо оглянулся, запер дверь на ключ и развернул сверток.

В нем был портрет — может быть, не слишком искусное изображение Терезы. Лицо, полное благородства, спокойствие в чертах, напоминавших прославленные греческие скульптуры. И внизу надпись: «Редкостному гению, великому художнику, прекрасному человеку. Т. Б.».

Он смотрел на портрет, и его губы дрожали.

— Тереза, — шептал он, — ты хочешь отдавать свою любовь несчастным! Но кто же несчастнее меня на всем

свете? — И он разразился тяжелыми, мужскими рыданиями.

Пришла ночь горячечных раздумий, ночь бесконечно долгая, бессонная. Лишь перед рассветом сомкнулись его веки и измученный мозг погрузился в обманчивый зыбкий сон.

Приход Терезы тоже был сном.

Внезапно он пробудился. Вскочил и зажег свечу. Греза еще владела им. Нужно было убедиться, что все это было на самом деле...

Он бросился к письменному столу. Открыл потайной ящичек, всунул руку не глядя. Пальцы пащупали портрет, зашуршала бумага. Да, это его письма, которые она вчера вернула ему, и он запер их вместе с портретом.

Так все это правда!

Глухой композитор Людвиг Бетховен остался в одиночестве, как вырванный из земли дуб.

Тереза добровольно ушла из его жизни, из его мечтаний!

Кто еще покинет его, Людвиг Бетховена? С горечью он сделал вывод:

«Последняя надежда — маленький Бетховен, Карл, сынишка умершего брата, но мальчику всего одиннадцать лет. Как дядя и опекун я его, конечно, выращу, но доживу ли до того времени, когда он станет зрелым человеком? А если доживу, что потом? А что теперь? В эти дни, такие тяжелые?

Глухота, старость, болезнь, одиночество!»

Уготовил ли для него ад еще худшие напасти?

Разлука с Терезой надломилась могучую натуру Бетховена. Он подвел итог своим утратам: им не было числа. Шаг за шагом близилась старость. Кто знает, может быть, пройдет еще немного дней и люди будут разыскивать его безымянную могилу?

Музыка — вот то единственное и главное, что еще его удерживало в жизни, не давая утонуть в пучине бед.

И он опять твердо стоит на ногах, стоит, пока судьба не решает отнять у него последнюю из радостей — дирижерскую палочку!

Хотя Вена увлечена Россини, итальянским композитором, недавно вошедшим в моду, венский театр наконец вспомнил о «Фиделло». Композитор переработал ее и написал новую, уже третью, увертюру «Леонора».

С надеждой ожидал Бетховен того дня, когда его опера после трехлетнего перерыва снова зазвучит со сцены. Он добросовестно посещал репетиции, советовал, помогал, не сознавая, что из-за глухоты только мешает.

Маэстро пожелал сам дирижировать на генеральной репетиции. Директор театра ежился в предчувствии последствий, а дирижер Умлауф безнадежно пожимал плечами. Но можно ли отказать стареющему композитору в последней радости!

Бетховен пришел в театр с Шиндлером, ставшим с годами его доверенным лицом, секретарем, другом.

Молодой человек, хотя и не был знатоком музыки, обладал преданным сердцем и редкостным терпением. Не жалел он и своего времени. Когда Бетховен стал за дирижерский пульт, тот устроился поблизости, в первом ряду зрительного зала.

С самого начала стало ясно, что композитор плохо слышит оркестр и совсем не слышит певцов. Возникло непонимание. Бетховен замедлял темп, и оркестр послушно следовал его руке, певцы же придерживались прежнего темпа и опережали оркестр. Композитор ничего не замечал, но рядом с ним находился капельмейстер Умлауф. Когда расхождение между хором и оркестром стало чрезмерным, он поднялся и крикнул оркестру:

— Довольно!

Оркестр сразу же умолк. Бетховен смотрел пенцимающе.

Умлауф ласково улыбнулся ему:

— Ничего, ничего! Маленькая ошибка. Начнем снова.

Новое затруднение не заставило себя долго ждать. Опять певцы оказались на несколько тактов впереди оркестра. Умлауф снова прервал репетицию.

Всем было ясно, что продолжать под руководством композитора репетицию невозможно. Но сказать об этом несчастному глухому музыканту ни у кого не хватало мужества.

Бетховен почувствовал недоброе. Резко обернулся:

— Шиндлер!

В его зове было отчаяние и призыв о помощи. Молодой человек подбежал к нему. Композитор протянул «разговорную» тетрадь и движением руки приказал писать. Шиндлер начертал отчаянную мольбу:

— Очень вас прошу, не продолжайте. Я все объясню дома!

Композитор понял. Отбросив палочку, он мгновенно перескочил через барьер, отделяющий оркестр от кресел.

Они добежали домой в тяжком молчании, и Бетховен бросился на диван, закрыв лицо руками, не спрашивая ни о чем.

В таком состоянии он пробыл до обеда. Наконец Шиндлеру удалось уговорить его немного поесть. На лице Бетховена было написано глубочайшее страдание, а уста не произнесли ни одного слова.

Только после обеда, когда Шиндлер собрался уходить, Бетховен прохрипел:

— Оставайтесь, прошу вас!

Шиндлер разделил с Мастером уже немало бед, однако не помнил времени столь тяжкого, как этот хмурый ноябрьский день.

Бетховен пережил ночь, каких не бывало с той, памятной, после разлуки с Терезой. Судьба нанесла ему новый удар! Он лишился возможности дирижировать, у него отнято самое действенное средство против отчаяния!

Временами он впадал в мрачное тягостное забытие и,

пробуждаясь, резко вздрагивал. Будущее лежало перед ним мертвой пустыней.

Но едва рассвело, несокрушимый Бетховен снова обрел мужество. При первых лучах тусклого солнца он вновь почувствовал в себе силы.

«Настоящий человек выстоит и в самых неблагоприятных тяжелых обстоятельствах, — думал он. — Ведь я умел это всегда! Сто раз сбитый с ног, я поднимался снова. Зачем же мне сдаваться сейчас?»

Ну, моя судьба, покажи, на что еще ты способна? Ты отняла у меня Терезу, и день за днем отнимала мой слух. Ну ладно! Я уже не могу больше дирижировать. Но каждый тон звучит во мне по-прежнему ясно. Я еще могу писать! Я могу утешать своей музыкой несчастных и придавать мужество малодушным.

Я не сдамся без борьбы. Я поклялся, что возьму тебя за глотку, проклятая судьба! И я сделаю это!

Я одинок и глухотой отторгнут от мира. Но все же я способен сделать больше, чем иные, кого не постигли горести и недуги.

Я — Человек. Может быть, я погибну, но не сдамся!»  
Он вскочил с постели.

— На свете есть много дел, делай их! — сказал он себе громко.

Он разделся до пояса, до краев налил умывальник холодной водой и начал плескать себе на лицо, грудь, голову.

Он всегда чувствовал себя счастливым под этим маленьким водопадом, который весело расплескивался по комнате, образуя лужицы, подчас проникавшие через пол в квартиру соседей. Может быть, потому он так любил воду, что в детстве привык смотреть из окна, как Рейн, изменчивый и вечный, катит свои волны. Потом Бетховен сел за письменный стол и погрузился в работу, будившую в его душе чувство радости. После двух часов напряженного труда вновь «водные процедуры», а затем пение гамм, громкое, насколько хватало голоса. И вновь он обрел радостное сознание своей силы.

В таком состоянии его застал Шиндлер, прибежавший около десяти часов утра, полный беспокойства после вчерашнего взрыва отчаяния. Пораженный, он увидел, как маэстро, склонясь над умывальником, распекает громовым голосом.

— Как видно, вам стало уже лучше, маэстро? Так и должно быть! — с облегчением заметил он.

Бетховен обратился к нему свое мокрое лицо:

— Вчера думал, что жизнь кончена и лучше умереть. Но Аполлон и музы еще не выдали меня костлявой. Сегодня отправимся с вами слушать «Фиделио», а если все пройдет хорошо, поедем за город. По календарю вроде и не полагается, сегодня ведь у нас уже второе ноября, но солнышко такую прогулку рекомендует!»

Солнце в самом деле уже несколько дней сияло так, будто принимало ноябрь за летний месяц.

Представление оперы прошло с успехом, и композитор вместе со своим спутником отправился за город. Вдвоем они выглядели довольно забавно: массивный коренастый Бетховен и Шиндлер, вытянутый как свечка, тощий и прилизанный от кончиков волос до начищенных ботинок. Но это несходство внешности еще не исключало возможность дружбы.

Хотя Шиндлер уже давно привык к быстрым сменам настроения у Бетховена, даже он был поражен счастливым выражением его лица. Значит, опасения были напрасны.

Сидя в коляске, Бетховен напевал какие-то мелодии без слов, покачивая в такт непокрытой головой.

Лошади бежали не спеша, кучер, прикрыв глаза, дремал, изредка по привычке понукал лошадей, прищелкивая языком. Вокруг царил покойствие и осенний свет.

Неторопливая езда привела их в Мёдлинг, маленький городок в двух часах езды от Вены. Это место композитор давно любил и не раз приезжал сюда летом.

Было уже за полдень, приближался час возвращения,



но Бетховен не торопился уезжать из этих приветливых мест.

— Как насчет чашки кофе и музыки, Шиндлер? — спросил он, кивнув в сторону садика возле корчмы, носившей название «У трех воронов». Из ее окон доносила музыка — скрипучая и прерывистая.

Композитор, конечно, не слышал ни единого звука. Однако он знал, что каждый день после обеда и вечером в корчме играет оркестр.

— Что ж, кофе — это неплохо, — согласился Шиндлер, а про себя подумал: «И зачем нам нужна эта визгливая орава! Мастер все равно не услышит ни одной ноты, а мои уши такую музыку не приемлют».

Они уселись за круглый стол, усыпанный опавшими кленовыми листьями. Композитор пристально смотрел на музыкантов, с удовольствием наблюдая, как ловкие пальцы перебирают струны или пробегают по кнопкам трубы, как поднимается и опускается смычок, как раздувают щеки музыканты, играющие на духовых. Он старался понять, что играют: вальс, медленный лендлер или какой-нибудь вихревой танец.

Послушав немного, Бетховен извлек из кармана флорин.

— Дайте им и позовите ко мне их капельмейстера, — обратился он к Шиндлеру.

— С вами хотел бы поговорить маэстро Бетховен, — не без смущения сказал Шиндлер старшему из музыкантов, передавая ему монету.

— Дева Мария! — пролепетал скрипач. — Он здесь? А я и не вижу. Только ради всего святого, пусть уж нас не ругает! Мы играем как умеем. Должен же человек чем-то зарабатывать кусок хлеба!

— Не пугайтесь. Он не услышит ни единой фальшивой ноты. Он совсем глух!

Музыкант поправил свою фуражку и неуверенно направился к композитору. Бетховен сердечно пожал ему руку.

— Так, что у вас в репертуаре?

Капельмейстер бросил испуганный взгляд на Шиндлера: как же разговаривать, если маэстро совершенно глух? Но у того уже был наготове блокнот и карандаш.

— Говорите, а я буду ему писать.

Тощий музыкант диктовал. Кто сочинил музыку, он не представлял, однако каждое произведение имело цветистое название: «Пробуждение весны», «Последние розы», «Вздых покинутой» и другие, не менее чувствительные. Губы Бетховена время от времени расплывались в улыбке.

— А откуда вы родом, коллега?

Музыкант помрачнел и выразительным взглядом призывал на помощь Шиндлера.

«Родом-то я не из этих мест, да не люблю говорить про это. Они, венцы, больше своих любят, а я в этих местах не с рождения. Папаша сюда прибыл как бродячий музыкант. А родился я поблизости от Кобленца».

Как только Бетховен увидел, что из-под руки Шиндлера появилось знакомое с детства название, он прямо завопил:

— Из Кобленца! Значит, с берегов Рейна! А я из Бонна! Земляка встретил! Я должен сочинить что-нибудь для вашего оркестра.

На лице музыканта вместо радости отразился испуг.

— Нет, господин, это нам не подойдет, — бормотал он испуганно. — Мы же бедняки, где мы возьмем столько денег? Господин очень знаменитый, это нам известно!

— Для вас это ничего не будет стоить! Неужели я с земляком возьму деньги? Сыграйте же мне что-нибудь, что вам самим по душе!

Когда компания музыкантов, поглядывая на прославленного композитора, начала играть что-то невероятно грустное, Бетховен спросил своего помрачневшего спутника:

— Что это вы, Шиндлер, как перед грозой? Вам что-нибудь не нравится?

Шиндлер согласно кивнул головой и написал в блокноте:

«Да, мне не нравится, что вы намерены тратить время на всякий вздор, на сочинение какой-то безделицы. Вы, кажется, уже начали несколько серьезных вещей. Жаль терять хотя бы минуточку».

Композитор ответил весело:

— В самом деле, я еще не кончил «Торжественную мессу», но почему бы и бродячим музыкантам не подарить немного хорошей музыки! Я вам вот что скажу. — С хитровой усмешкой он наклонился к своему молодому другу: — Вы когда-нибудь были на деревенском балу? Скажем, уже к концу, когда музыканты играют вторую, а то и третью ночь? Видели когда-нибудь, как кто-нибудь из музыкантов вдруг уснет посреди вальса? Потом очнется, дунет в свою трубку разок-другой и задремлет дальше. Смешное зрелище. Я изобразил таких деревенских музыкантов в Шестой симфонии. И знаете что? — Его глаза сверкнули. — Я им сейчас напишу такой танец, в котором и вправду они смогут дремать по очереди. Один из инструментов время от времени будет отдыхать! — Он весь засветился, хотя дальше речь шла о вещах менее веселых. — Да и почему бы мне не писать теперь для этой деревенщины, если в Вене уже мои сочинения не желают знать? Вам, конечно, известно, что говорят в столице: «Моцарт и Бетховен — старые педанты. Их музыку превозносят люди несведущие. Только Россини показал нам, что такое настоящая мелодия, настоящая музыка!» Как видите, они отворачиваются от меня, как когда-то отвернулись от Моцарта. Вот я и должен теперь заботиться, чтобы Бетховена играли хотя бы бродячие музыканты!

Шиндлер неохотно признал, что такие речи ему доводилось слышать, только все это пустая болтовня.

— Нет, мой друг, не скажите! Хотя мой «Фиделно» все же появился на сцене опять, но симфонии никто не желает слушать. Из Вены по всему свету распростра-

няются слухи, будто Бетховен уже никуда не годен, что у него уже трясется голова и руки дрожат от старости.

Шиндлера удивило, с какой легкостью говорит сейчас Бетховен о всякой лжи, распространяемой о нем, хотя совсем недавно был так болезненно чувствителен к подобным вещам. Он взялся за карандаш:

«Но вы кое-что им показали за последнее время! В прошлом году — фортепьянную сонату, уже тридцатую. А в этом году еще две. И при этом одна другой прекраснее!»

Бетховен многозначительно поднял палец:

— Будут и посильнее, милый Шиндлер! Теперь я должен доказать миру, что в любом человеке есть искра; все зависит от человека, возгорится она или нет. — Он хотел сказать что-то еще на эту тему, но внезапно остановился: — Вы допили свой кофе?

Он поднялся со стула, уплатил и, помахав рукой музыкантам, вышел из сада.

В коляске за два часа пути Бетховен не проронил ни одного слова, порой напевая какие-то мелодии. Иные обрывались сразу же, а другие он повторял многократно.

«Что это происходит с Мастером? — раздумывал Шиндлер. — Что-то в нем бродит, зреет, растет — что-то необычайное. Возможно, возникнет новое творение?»

На венских афишах имя Бетховена уже не появляется. Все увлечены легкой итальянской музыкой. Правда, сейчас Бетховен переносит это легче, чем прежде, четыре года назад, когда слава, высоко вознесшая его после Венского конгресса, вдруг сразу угасла. Тогда казалось, что он полностью утратил веру в себя. А разрыв с Терезой Брунсвик едва не убил его. Он писал мало. Казалось тогда, что он исчерпал все свои возможности. Потом он постепенно стал приходить в себя.

Но в нем пробуждался совсем иной Бетховен. Кое-кто из друзей уже заметил это. Сотни раз толковали об этом в кофейне «У цветущего куста». Он стал еще более замкнут, но какой-то просветленный душой, словно в нем

зажегся ровный загадочный свет. Не связано ли все это с новым замыслом? Может, он сочиняет Девятую симфонию, о которой не раз упоминал?

Но откуда в ней взялась радости? Под его крышей радость не обретается. Он одинок и заброшен, дом его запущен. Без конца меняется прислуга. Они ругают его, смеются над ним за его спиной, считая помешанным. И хотя насмешек он не слышит, он чувствует их.

Племянник Карл совершенно отвращает его существование. Композитор поместил его в лучший венский пансион, но тот не желает учиться, не слушает его советов. А ему всего лишь шестнадцать лет. Чего же ожидать дальше?!

Здоровьем бедный маэстро тоже не может похвалиться. Одна болезнь сменяется другой. Его часто мучает воспаление легких, печень больна, и бог знает что еще! Немало есть и других причин, чтобы быть мрачным. Откуда же, из каких источников черпает он свою бодрость?

Некоторые говорят, что он год от году молодеет. Будто лет ему не прибавляется.

Раньше, чем Шиндлер произнес слова сомнений, дрожки остановились у дома, где жил Бетховен.

Не успела коляска остановиться, композитор, вскочив с места, вложил своему спутнику в руки кошелек и крикнул:

— Заплатите, мне некогда!

Он вбежал в дом и взлетел по лестнице, будто его пятидесяти двух лет и не бывало.

Когда через несколько минут Шиндлер вошел в комнату, Бетховен замахал навстречу ему ногой тетрадью:

— Есть! Уже есть!

— Что?

— Мелодия, которую я искал весь день!

Он бросился к роялю, расстроенному, с оборванными струнами, полопавшимися под ударами его пальцев, и что-то проиграл. Композитор ударял по клавишам с невероятной силой, будто надеясь услышать хотя бы отдален-

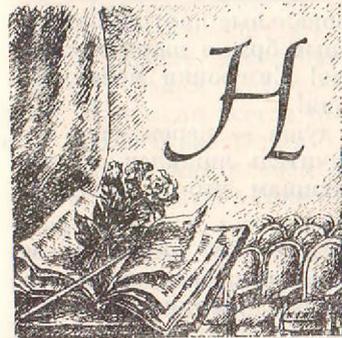
ный намек на звук. А когда он хотел извлечь из клавиш пшанпссимо, его туше было таким слабым, что мелодия не слышалась совсем. Жалкое нагромождение разорванных, отдельных нот — вот что было результатом его усилий.

Но лицо Бетховена светилось таким же восторгом и священным огнем, как в те времена, когда он своей игрой покорял мир. Не могло быть сомнения: ему слышалась не жалкая трескотня, а мелодия, полная красоты и гармонии.

— Вы слышите? Слышите? Это песня о радости! — победно закричал он и торжественно поднял вверх палец, желая подчеркнуть важность своих слов.

Шиндлер онемел. Он стиснул зубы, ничего не понимая, и готовый скорее плакать, а не радоваться.

Но Бетховен уже не спрашивал ни о чем. Он как бы опустил занавес между собой и миром, умолк и ничего не видел вокруг. Мастер снова погрузился в свой таинственный мир, полный света и одному ему слышимых звуков.



несколько недель спустя Шиндлеру уже многое стало ясно. Он очень любил Бетховена и боялся за его будущее, беспокоился о его завтрашнем дне, о наступающей старости. Вот он идет к композитору в таком волнении, что размахивает руками и чуть ли не разговаривает сам с собой вслух. Он, Шиндлер, скажет ему все! Как это можно так вот

опрокинуть все, что создавалось веками?

Девятая симфония! Она могла бы превзойти все предшествующие, если бы, конечно, маэстро послушался его

совета. Разве есть что-нибудь подобное у Моцарта, Гайдна, Генделя или Баха!

Шиндлер уже говорил ему:

— Мастер, выбросьте из головы эту идею! Правила не позволяют ничего подобного.

А он рассмеялся и сказал:

— Не позволяют? А вот я позволю!

Как будто он папа римский! Теперь его критики во всеуслышание заявят о том, о чем до сих пор говорили лишь между собой шепотом:

«Бетховен сошел с ума».

Сколько раз уже ему самому казалось, что так, пожалуй, оно и есть. Достаточно вспомнить историю в Мёдлинге с этими бродячими музыкантами. В самом разгаре работа над «Торжественной мессой» — сочиненном грандиозным. И что же? Он прервал ее, чтобы сочинить танцы для семерых бедняг из трактирчика «У трех воронов». А потом еще тряслись в коляске до Мёдлинга, чтобы вручить дар, которого эти бродячие музыканты никогда не оценят! Безумие! Чистое безумие!

Однако это еще малость в сравнении с тем, что он задумал теперь! Вставить хор и вокальные партии в ткань симфонии! Все равно что на черные брюки нашить красную заплату. Слыханное ли дело! Симфонию исполняет оркестр. Это не опера и не оратория!

Пока Шиндлер — преданная душа — переживает все эти страхи, уверенный, что его учитель лишился рассудка, тот напеваает, ударяет по клавишам, что-то мурлычет себе под нос и пишет.

Шиндлер вошел без стука. Мастер все равно бы не услышал. Как только они поздоровались, сразу начались пререкания, и на этот раз карандаш ученика вел себя очень наступательно:

«Я говорил о вашей симфонии со многими известными музыкантами. Они все удивляются, почему вы, вопреки здравому смыслу, хотите цепие включить в симфонию?»

— Положим, этого не я хочу. Этого требует идея симфонии.

«Ваши предыдущие восемь обошлись без человеческих голосов. В самой музыке люди ощущали героизм «Героической», спокойствие Второй, очарование сельской жизни в «Пасторальной» или радость танца в Восьмой симфонии».

— Но на этот раз я должен найти еще более убедительные средства. Я хочу сказать людям, что все мы родились для страданий и радости, но самые великие из нас те, кто умеет и в страданиях черпать радость.

«Но все это вы должны выразить только с помощью музыкальных инструментов!»

— А разве человеческий голос — это не лучший инструмент? Я включаю в симфонию оду Шиллера, потому что мне самому свою идею не выразить с такой ясностью. Почему же поэт не может соединиться с музыкантом?

«Может, но в опере или в песне!»

— Я и вставлю песню в ткань симфонии.

«Но никто из композиторов этого не делал!»

— Так сделаю это я!

«Вы всех насмешите!»

— Будущие поколения меня поймут. И моя музыка поможет людям одолеть несчастья, выпадающие на их долю. Для меня всегда было величайшим счастьем помогать людям страдающим.

Конечно, мне в моем одиночестве часто казалось, что судьба не уделила мне ни малейшей крупинки счастья. И много раз я сам говорил себе: ты не имеешь права жить для себя! Только для других! Для тебя уже счастье невозможно, ищи его в себе самом, в своем искусстве!

Нет такой пропасти, из которой не вела бы наверх хотя бы маленькая тропинка. Моя тропинка — это музыка. Для других это может быть наука или какая-нибудь иная деятельность, полезная для человечества. Так любой может найти радость для себя.

«Я понимаю главную мысль вашего сочинения, но...»  
— Нет, не понимаете! Иначе как вы можете оспаривать мое намерение включить оду Шиллера в симфонию! Человека приводит в волнение уже первая ее фраза, этот страстный призыв!

Композитор так увлекся, что подбежал к столу и начал рыться в бесчисленных бумагах, разыскивая потрепанную книжку. Перелистывая ее, он продолжал защищать свой замысел.

— Вы только послушайте, как призывает Шиллер:

Обвинитесь, миллионы!  
В поцелуе слейся свет!

Это именно то, что хочу сказать я. Все люди будут братьями! Язык, вероисповедание, цвет кожи — все эти глупые предрассудки, опутывающие нас веками, все они должны исчезнуть. К сожалению, мы с вами, Шиндлер, сейчас не понимаем друг друга. Вы хотите, чтобы я сочинял симфонию по вашему рецепту...

«Но...»

— Знаю. Я делаю нечто такое, чего до сего времени не делал никто. Но если бы не искали новых путей, мир оставался бы ничтожным. Главное в жизни — две вещи: свобода и прогресс. Ну, однако, уже достаточно. Не мешайте мне, да и вам нужно работать.

Он резко повернулся к роялю, а Шиндлер, сделав недовольную гримасу, уселся у круглого стола, где он обычно занимался.

Прошло еще немало времени, прежде чем было завершено это необыкновенное сочинение.

Никто пока не слышал его, знали только, что оно лежит в столе композитора, но шло уже много толков. Кое-кто решил, что новое сочинение Бетховена если не полная бессмыслица, то, во всяком случае, дерзость неслыханная.

Включить в симфонию человеческую речь? Это неви-

дашно! Но любопытство возрастало. Преданные друзья настойчиво спрашивали: «Когда будут исполнять вашу новую симфонию? Скоро ли мы ее услышим? Почему откладываете исполнение?»

Шиндлер постепенно примирился со странной симфонией и только передавал Бетховену один и тот же вопрос:

— Когда же Бетховен продирижирует своей симфонией?

Но композитор все не мог решиться:

— Кто теперь придет на мой концерт? Разве только друзья, которые займут от силы два ряда. А мне придется расплачиваться за пустующий зал и за свой позор?

Наконец колебания Бетховена вывели Шиндлера из равновесия.

«О вашей симфонии в Вене идет столько разговоров, что они вполне заменят афиши. Ни одно кресло не останется пустым. И если не все придут из любви к вашей музыке, то многие явятся хотя бы из любопытства».

— И чтобы осмистать меня, — без злобы и с каким-то удивительным спокойствием сказал Бетховен. — Но найдутся ли музыканты, которые захотят исполнить симфонию, уже прославившую чудовищной? И где я возьму солистов для вокальных партий? Да сейчас и поют-то все на итальянский манер!

«Все будет, — заявил Шиндлер. — Будет любой оркестр и любой театр. Все это я беру на себя. Все выхлопочу».

Бетховен продолжал сомневаться:

— Зачем торопиться? А вдруг Девятая провалится!

По существу, эта удивительная симфония вызрела в его душе на протяжении всей жизни. Каждый год его жизни как бы давал новый росток будущего творения.

Ода «К радости» Шиллера захватила его еще в Бонне, когда он был двадцатилетним юношей.

С каждым соприкосновением он как бы поднимался в своем искусстве все выше, и вот настал миг, когда он почувствовал, что приблизился к вершине. И тогда его совесть сказала ему:

«Пришел час! Собери все свои силы и ударь молотом по наковальне! Покажи, что ты можешь свершить!»  
Итак, жребий брошен.

Начались репетиции, друзья помогли арендовать зал, прийти музыкантов, певцов. И наконец на углах улиц появились афиши, гласившие, что седьмого мая 1824 года в семь часов вечера Людвиг ван Бетховен в дворцовом театре представит публике свое последнее произведение — большую симфонию с хором на слова оды «К радости» Шиллера.

Под вечер прибежал Шпидлер в черном фраке, с белым фуляром на шее, чтобы помочь маэстро облачиться в соответствующее торжественному событию парадное платье и заодно приободрить его.

С широкого лица Бетховена не сходили морщины озабоченности. Говорят, билеты проданы все. Значит, Вена явится. Но зачем она явится? Чтобы с громом предать поношению творение глухого музыканта, нарушившего веками освященные правила?

Шпидлер говорил без умолку, сильно жестикулируя:  
— Все получается отлично, великолепно, замечательно!

В глубине души он, однако, не был так уж уверен в успехе. Вот если бы можно было обойтись без этого злополучного хора! Что, если в зале окажется большинство приверженцев итальянцев и старых правил?!

Заботы доставляет ему и туалет маэстро. Напрасно он перебирает его костюмы один за другим.

— Никогда у вас нет порядочного черного фрака, маэстро! — восклицает он огорченно и пишет на бумаге фразу: «Наденьте этот зеленый! При вечернем свете бу-

дет незаметно. Как же это можно вам не иметь черного фрака?»

Бетховен рассмеялся:

— Музыканту, которого нигде не играют, парадный костюм не нужен.

И поехал в концерт в зеленом фраке.

Площадь перед театром была забита людьми. Кто они — друзья или враги? С композитором раскланивались знакомые и незнакомые, но Бетховен почти не отвечал им.

...До начала уже оставалось немного. За кулисами прохаживались участники хора, не выступавшие в первой части симфонии. Сцена наполнялась музыкантами.

Из-за кулис Бетховен выглянул в зал. Он и в самом деле был полон! Ни одного свободного места. Были переполнены и ложи, абонированные зпатью на весь сезон. Пуствовала только императорская ложа.

Бетховен порадовался: значит, его имя еще способно притягивать людей! И сразу же нахлынули опасения.

Может быть, они пришли просто из любопытства? На афишах написано, что я принимаю участие в концерте. Глухой дирижер — это же цирковой номер! Как говорящий конь или собака, умеющая читать. А может быть, они пришли только для того, чтобы видеть мой провал?

Кто-то тронул его за плечо. Капельмейстер Умлауф давал знать, что пора начинать. Огромный оркестр был готов.

В тот момент, когда композитор в своем выдавшем виды зеленом фраке вступил на сцену, загремели аплодисменты такой силы, которые нечасто бывали в концертных залах. Бетховен видел лишь движение ладоней и неуверенно поклонился. Потом он повернулся к оркестру и поднял руки. Музыканты взяли смычки, приложили к губам мундштуки духовых. Движение дирижерской палочки, и вот уже зазвучала торжественная увертюра.

Два первых номера концерта прошли гладко и были встречены одобрением. Но еще нельзя было говорить об успехе, пока оркестр и большой хор не перейдут ко второй части концерта — к симфонии с хором. Последняя часть — это просто атака на тех, кто почитал веками освященные законы! Нападение бунтарское, смелое и неслыханное! Ввести в симфонию человеческие голоса!

Поразительная тишина воцарилась в зале. Но не для композитора. Пульсировала взволнованная кровь, бешено стучало сердце.

Да и как могло быть иначе? Девятая симфония — итог всей жизни, ее страстей, волнений и радостей. Он сознает, и это сознание волнует его, что это произведение всегда пребудет вершиной его творчества. Все, что было создано им раньше и чем мир так восхищался, было лишь репетицией, подготовкой.

Как примет мир его исповедь? Как воспримет его послание о радости?

Он сделал знак, и музыканты заиграли. Девятая симфония началась.

Первые такты ее напоминали неуверенные шаги ребенка. Будто мысль еще блуждала где-то в туманном далеке. Но постепенно главная идея становилась более зримой. Скорбь и отчаянная борьба с судьбой. Душа рвется к счастью, однако оно не приходит. Человек еще не нашел к нему дороги.

И вот голос, глубокий и глухой, дважды воззвал:

— Freude! Freude!

Он призывал Радость, и волнение передавалось от человека к человеку как электрическая искра.

Хор молчал. Его время еще не пришло. Тот же мужской голос спокойным речитативом выпевал слова оды Шиллера:

Радость, чудный отблеск рая,  
Дочь, милая богам,  
Мы вступаем, неземная,  
Огнехмельные, в твой храм.

Мощно и настойчиво звал он к братскому сплочению людей, без чего жизнь не может быть счастливой. И призывал радость!

Власть твоя связует свято  
Все, что в мире врозь живет,  
Каждый в каждом видит брата  
Там, где веет твой полет!

И здесь влился мощный гимн хора, гимн братства людей. Хор звал всех в радостный и тесный круг:

Обнимаетесь, миллионы,  
В поцелуе слейся свет!

Бетховен смотрит перед собой. В его непотревоженный слух не проникает ни одно слово из этой песни о радости. Он видит хор, уста певцов открываются, но беззвучно. Так же, как беззвучны для него скрипки, флейты, трубы, литавры...

Глухой maestro давно уже не испытывал отчаяния в своем немом царстве. Но сейчас его терзало сомнение. Что будет, когда отзвучит последняя нота? Одобрение? Или насмешки? Свист? Возмущенный топот ног? А может быть, зал затихнет в смущении и замешательстве от сострадания к нему?

О нет!.. Лучше уж неприятие и нападки, чем такая милостыня!

Симфония кончается. Допета песня о Радости. Музыканты поставили свои инструменты, скрипачи и виолончелисты опустили смычки. Теперь слово за слушателями.

Бетховен продолжал стоять спиной к залу. Он, прошедший через столько испытаний, не отваживался взглянуть на своих слушателей.

Музыканты и певцы не спускали с него глаз. Они ждали: как же поступит создатель этого творения?

Сомневающийся и неуверенный, он все еще стоял спиной к залу. Но что же там? Овация или гнев? Может быть, гремят раскаты смеха? Наконец к нему подошла

одна из певцов. Она положила руки ему на плечи и повернула лицом к залу.

То, что он увидел, поразило его. Сотни восторженных лиц, бесчисленное множество рук, приветствовавших его, овация, несущаяся из партера, с балкона, из лож!

Нет, он не слышал, как гремел зал, волны восторга ударились о стены, вздымались к потолку и падали вниз, чтобы снова взмыться с новой силой! Но он видел людей, закрывших лицо, рыдающих. Многие бросились к нему, стоящему в растерянности у самого края сцены.

В передних рядах люди вскакивали, бежали к сцене, тянулись к Бетховену, будто хотели пожать ему руку за всех, кто не может приблизиться.

Поднялись со своих мест и музыканты. Они постукивали смычками по своим скрипкам, виолам, виолончелям, контрабасам; потом отложили инструменты на сиденья и бешено захопала вместе с хором.

Бетховен склонил голову, увенчанную густой гривой волос, в которой виднелись серебряные пряди. И цветы на длинных стеблях тоже склонились в его руках.

Его душа в эти мгновения находилась далеко. На крыльях песни о Радости она вернулась к родному Рейну. Он видел себя мальчиком, не достающим клавиш. И он словно коснулся, как когда-то, руки матери: «Все хорошо, все прекрасно, мамочка! Разве я не обещал тебе этого когда-то?»

Вслед за матерью перед ним возникли и другие дорогие тени. Нефе — учитель протеста и непокорности. Моцарт — первый борец за творческую свободу художника. И рядом любезный старец — воплощение смирения — Гайдн. И Тереза здесь. Милая и верная душа! Где-то там, вдалеке, она отдаёт свое сердце обездоленным детям! Воспоминание о ней приносит боль. Но она не обжигает, не режет острым ножом, потому что мужественный человек умеет переплавить всю свою любовь в деяние для людей. К тысячам и миллионам страдающих шел его

ободряющий призыв: «Не падайте духом, люди! И я не сдавался, хотя переносил тяготы, казалось, непосильные для человека.

Девятая симфония — это мой призыв к мужеству!»

Композитор понимал в эти минуты: сейчас ему аплодируют не только Вена, ему аплодируют, выражая признательность, далекие поколения. И не только за Девятую, но и за «Героническую», за «Аппассионату», за «Лунную», за все его песни о мужестве, об отваге, о борьбе за свободу и радость, которую нужно извлечь из глубины страданий.

Бушующий зал вдруг потускнел перед его взором. Глаза наполнились слезами.

Окончено повествование о жизни мужественного человека и величайшего из музыкантов. В Девятой симфонии его искусство достигло вершины. Французский писатель Ромен Роллан так говорит об этом его сочинении:

«Какая победа может сравниться с этой победой? Какое сражение Бонапарта достигает славы этого сверхчеловеческого труда, этого блестящего успеха, который когда-нибудь одерживал человеческий дух! Страдающий, немущий, больной и одинокий человек, которому жизнь отказывала в радостях, сам творит радость, чтобы даровать ее миру».

Он помышлял о Десятой симфонии, задумал написать оперу «Фауст» по драме Гёте, но судьба не отпустила ему времени для совершения всего этого. После шумного успеха Девятой в императорском театре в Вене Бетховен прожил лишь три года. Его слава росла и ширилась по всему миру.

Бетховен боролся с болезнью целых три месяца. В эти дни он вернулся к столь любимым всю жизнь древним грекам. Он читал Гомера, Платона, Аристотеля. Радовался

приходу старых друзей, особенно своего давнего друга Брейнинга и преданного Шиндлера. Но самым желанным гостем, навещавшим больного композитора, был тринадцатилетний сыннишка Брейнинга.

Он прибегал каждый день в полдень, в перерыве между утренними и дневными занятиями, и приносил радость. Бетховен именовал его Ариэлем — так звали доброго духа в пьесе Шекспира «Буря».

Узнав о болезни Мастера, его друзья, даже жившие вдалеке, оказывали ему знаки внимания. Из родного края прислали рейнское вино. Он смог сделать лишь несколько глотков. Много радости доставил ему рисунок, изображающий родной домик Гайдна, и роскошное издание сочинений Гайдна.

Он скончался двадцать шестого марта 1827 года. Последние минуты его жизни близкие друзья описывали так:

«Это было около четырех часов дня. Тяжелые тучи все больше и больше застилали небо. Внезапно началась снежная буря с градом. Как в бессмертной Пятой симфонии и великой Девятой раздавались удары судьбы, так теперь казалось, что небо ударами в гигантские литары оповещало весь мир искусства о великой утрате...

Перед домом Бетховена лежал снег. Вдруг из туч блеснула молния и озарила своим блеском комнату, в которой расставался с жизнью великий Мастер. Бетховен открыл глаза, сжал правую руку в кулак и погрозил им в окно. Его лицо было грозно, будто он хотел сказать:

«И все же я не поддаюсь вам, враждебные силы! Прочь от меня!» Да, смерть могла сокрушить его тело, но не могла победить его дух.

Тысячи людей провожали его в последний путь, но он остался с ними. Он бессмертен, он всегда с нами, мужественный и человечный, борющийся и нежный».

Ромен Роллан обращал к нему свое изволнованное слово:

«Дорогой Бетховен! Немало людей отдавали должное его величию художника. Но он, конечно, больше, чем первый из музыкантов. Он самая героическая сила в современном искусстве. Он самый большой и лучший друг всех, кто страдает и борется. Когда нас удручают горести нашего мира, он приходит к нам, как приходил к матери, потерявшей сына, садился за фортепиано и без единого слова утешал ее, плачущую, своей песней сострадания. И когда нас охватывает усталость в нашей непрерывной борьбе, как несказанно хорошо окунуться в этот животворный океан воли и веры. Мы черпаем и отвагу, которая все ширится, и счастье, что мы можем и будем воевать».

Никто не доказал лучше, чем Юлиус Фучик, какую отвагу и радость придает человеку музыка Бетховена. Зная, что через неделю будет казнен, он писал в своем последнем письме домой:

«Верьте мне: ничто, абсолютно ничто не убило во мне радости, которая живет во мне и проявляется каждый день каким-нибудь мотивом из Бетховена. Человек не становится меньше оттого, что ему отрубят голову. И я искренне желаю, чтобы тогда, когда все будет кончено, вы вспомнили обо мне не с грустью, а с радостью, с которой я всегда жил».

Людвиг Бетховен зажжет солнце, которое светит и будет светить в нашем будущем.

Радостное мужественное солнце в нас самих.

**Згорж А.**

3-45 Один против судьбы: Бетховен. Повесть о жизни (Сокр. пер. с чеш. Н. Дроздовой. — М.: Мол. гвардия, 1980. — 207 с., пл. — (Пионер — значит первый.)

В пер.: 45 к., 100 000 экз.

Повесть о жизни великого композитора Людвиг ван Бетховена. «Он самая героическая сила в современном искусстве. Он самый большой и лучший друг всех, кто страдает и борется», — сказал о нем французский писатель Ромен Роллан.

В этой книге воссозданы величие и трагическая судьба композитора. Напряженное повествование разворачивается на фоне исторических событий того времени.

Адресована школьникам среднего возраста.

3  $\frac{70803-187}{078(02)-80}$  062-80. 2804100000

ББК 85.23(3)  
78И

ИБ № 2395

**Антонин Згорж**

**ОДИН ПРОТИВ СУДЬБЫ**

Редактор Людмила Лузянина

Художник Александр Антонов

Художественный редактор Анна Романова

Технические редакторы Ольга Бойно, Татьяна Кулагина

Корректоры Екатерина Самолетова, Виолетта Назарова

Сдано в набор 04.02.80. Подписано в печать 10.07.80. А01645.  
Формат 70×108<sup>1/2</sup>. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. п. л. 9,1.  
Учетно-изд. л. 9,7. Тираж 100 000 экз. Цена 45 коп. Заказ 2409.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцневская, 21.

45 коп.



ПИОНЕР  
ЗНАЧИТ  
ПЕРВЫЙ

70  
ВЫПУСК

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ